

Алексей
ПОЛИКОВСКИЙ

РОК



на Павелецкой

роман

ИНАПРЕСС

Annotation

Final Melody – рок-группа родом из СССР. Ее гитарист был учителем Ричи Блэкмора и завсегдаем Кащенко, органист воровал для своих музыкальных нужд детские коляски, а ударник в паузах между драками репетировал в коммуналке. Каждый концерт этой безумной команды превращался в дебош. Она была легендой советского рок-подполья. Прошло двадцать лет. Где теперь эта музыка?

Алексей Поликовский – почтальон в московских переулках, школьный учитель на окраине города, ночной сторож в музее и блистательный «универсальный журналист аристократической журналистской школы» («Новая газета»). Он никогда не пишет о политике и криминале, но всегда – с любовью, состраданием и восхищением – о людях. Его текст о Ринго Старре в старом «Ровеснике» был первым признанием Битлс в советской прессе. Его послдняя книга о Джиме Моррисоне – первая русская биография Повелителя Ящериц. Его героями были Виктор Цой и Фридрих Великий, Джим Моррисон и Януш Корчак, Пабло Пикассо и Владислав Третьяк, люди 1812 года и наши футбольные фанаты... Он много писал о дальних странах, но всегда – о России.

И вот из дальнего ящика допотопного письменного стола он извлек, наконец, одну из своих книг.

Читайте печальную историю потерянной музыки.

Алексей Поликовский человек рок-поколения и знает, о чем пишет.

-
- [Алексей Поликовский](#)
 - [1](#)
 - [2](#)

- [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
-

Алексей Поликовский

Рок на Павелецкой

Сейчас я уже не помню, что делал в тот осенний день на Дубининской улице. Я повернул налево с Кольца – тогда там ещё был левый поворот – и, проехав мимо Павелецкого вокзала, уже готов был устремиться дальше на юг, по дурной разбитой мостовой, для пущего страдания автомобилистов снабженной трамвайными путями. Обычно я там не езжу, берегу машину, но тут меня понесло. Вдруг боковым зрением я увидел на другой стороне улицы стоящего за лотком бородатого мужчину в синей курточке и с красной лентой вокруг головы. Я ещё не успел сообразить, кто это, – мысль об этом пришла секундой позже, – но уже почувствовал внезапную тревогу. Я по инерции проехал несколько десятков метров и остановился, не доезжая светофора. Постоял десять секунд, раздумывая и сомневаясь, а потом включил аварийную сигнализацию и подал назад. Да, теперь я проехал несколько десятков метров назад, осторожно, медленно, навстречу несущимся к светофору машинам – и притормозил точно напротив уличного торговца.

День был унылый и серый, а фигура его на фоне этого серого, пропитанного влагой дня была яркая, как цветная клякса. Длинные темные волосы, громоздкое, с крупным подбородком, как из дерева вырезанное лицо, рыжеватая борода, красная лента вокруг головы, давно вышедшие из моды кроссовки с загнутыми мысками – он выглядел нелепо, как мастодонт, случайно забредший в наш супердинамичный век. Сидя за рулем и повернув голову, я некоторое время смотрел в боковое стекло на грузную фигуру, стынущую за лотком на холодном ветру. Это был сентябрь. Вторая половина сентября, уже шли дожди. Асфальт был в лужах. Очень неудобная

погода. Я рассматривал его, сбитый с толку, неуверенный, смущенный, пытаюсь совместить в себе какие-то вещи, которые казались несовместимыми – а потом, уже поняв, кто это, опять сидел и думал, нужно ли выходить и идти к нему. Помимо сомнений, стоит ли вообще подходить к человеку, которого не видел двадцать лет, тут было ещё и обычное нежелание вылезать на холод из теплой кабины с радио, которое хрипловато мурлыкало голосом Патриции Каас. Она пела «Медуамазель блюз».

Теплая кабина, бесшумно работающий под красным капотом двигатель в сто шестьдесят хорошо отлаженных сил, – инжектор, шестнадцать клапанов, многоточечный впрыск, гордость водителя! – приятный голос француженки, в котором в правильных пропорциях были смешаны романтика и эротика, руки на руле, правая нога на ребристой резине педали газа – все это был мой привычный мир, мир, который сросся со мной так, что уже не отдерешь. Автомобиль был продолжением меня. Или я был продолжением автомобиля? Я был тот, кто я был – не последнее лицо в страховой компании «Линекс», мужчина сорока пяти лет с красивой сединой в волосах, отец семейства, владелец счета в Московском Международном Банке (ММБ), раз в год отдыхающий две недели в Европе. Улица, уходящая вдаль, была как приглашение двигаться дальше и, двигаясь, оставаться здесь, в этом привычном мире, в своей нынешней жизни. Человек, маячивший за стеклом на другой стороне улицы – он был из другой жизни. Из прошлого.

Двадцать лет назад, в те годы, которые отстояли от приближающегося Миллениума далеко, как эпоха ацтеков, человека, который сейчас стоял за лотком, звали очень просто – Бас. По понятной причине: он играл на басу в великой группе Final Melody. Я не слышал о Final Melody много лет, мои нынешние

приятели и сослуживцы не знали о такой группе, да и вообще кто теперь знал об этой группе? – но я никогда не забывал о них. Это было невозможно – это значило бы забыть о самом себе, каким был когда-то, а ведь я *был* когда-то. Они сгнули, растворились. Музыка группы не издавалась, что вообще-то говоря было странно: в наши дни после цифрового ремастеринга издается абсолютно все, любой шум и гам, даже тот, что остался от прошлого на осыпающейся пленке «Свема», предназначенной для старых катушечных магнитофонах. Но их – не издавали. О них не писали. На FM-диапазоне их не крутили. Они исчезли.

Я вздохнул, поправил очки на носу, вылез из кабины, запер машину, сунул руки в карманы куртки и через улицу пошел к нему. Улица здесь довольно широкая, это дальше она деградирует, лишается асфальта, сужается и превращается в вымощенный булыжником кошмар для передней подвески. Я шел не спеша, пропуская несущиеся мимо с влажным шуршанием машины, а сам смотрел на него. Бас стоял за лотком, вжав голову в плечи, глядя вниз, будто в оцепенении. Ему было холодно – ещё бы, провести целый день на сыром ветру – но он не делал никаких попыток согреться, не переминался с ноги на ногу, не двигал плечами, не шевелил руками, не расхаживал. Стоял себе неподвижно, выдвинув челюсть вперед, тупо глядя в асфальт. Он был в неподходящей к погоде синей синтетической курточке с гербом компании Opel, молния была застегнута до самого верха, в старых джинсах и в грязно-белых кроссовках с загнутыми вверх носами. От этих кроссовок я просто не мог отвести глаз. Где он взял их, на какой помойке, в каком старом обувном ящике? Лет пятнадцать назад такие кроссовки были последним писком моды. Что касается красной ленточки вокруг головы, то и она тоже была стопроцентным анахронизмом – теперь такие носят

разве что длинноволосые теннисисты на корте. В те годы, в начале восьмидесятых, он носил такую же, что придавало ему внешнее сходство с Христом в терновом венце. Вполне хипповая аналогия.

Я уже стоял перед лотком и рассматривал товар. Торговал Бас в основном писчебумажными принадлежностями – на лотке лежали стопки тетрадей, на обложках которых были изображены котята и некто ужасный по имени «Рокемон». Далее – ручки с гелиевыми стержнями, а ещё кисточки в пластмассовом стаканчике. Это все был товар умопостигаемый, но тут были ещё вещицы, смысл которых оказывался мне недоступен – под мокрым целлофаном, усеянном крупными каплями, лежали красные тряпичные сердечки с вышитыми по краю словами «С любовью!» и с посаженными сверху мишками, стрекозами и зайчиками. Я не мог представить, кто это покупает и зачем. Некоторое очень небольшое время я созерцал лоток, а потом перевел взгляд на Баса. Я глядел на него, а он, чувствуя пристальное внимание к себе, стал нехотя и вяло выходить из комы. Не меняя позы, все так же стоя с вжатой в плечи головой и глубоко засунутыми в карманы куртки руками, он подвигал челюстью и открыл глаза – мгновение в них была стерильная, ничем не тронутая пустота только что возникшего сознания. Потом в них что-то поплыло.

Всегда неприятно, когда тебя рассматривают в упор, но тут неприятным было ещё и то, что он на моих глазах проходил тот путь сомнений, который я проделал пять минут назад, сидя в машине. Я уже въехал в ситуацию, уже свел концы с концами, уже смирился с обретением прошлого, а он пока что элементарно не был уверен, я ли это. Я ли это? Попробуйте задать себе этот вопрос, стоя перед зеркалом, три или четыре раза подряд, сделайте это абсолютно серьезно, вдумчивым тоном и с нажимом – и

вы почувствуете, как в дальнем уголке мозга медленно пробуждается ваша родная, исконная шизофрения. Мог ли вышедший из красной иномарки Mazda-323 коротко постриженный состоятельный господин в очках, в коричневой кожаной куртке и белых джинсах от Kevin'a Clein'a быть длинноволосым, бледным от постоянного недосыпа, вечно возбужденным френдом, который так любил рок-н-ролл, что ходил не только на концерты, но и на репетиции великой группы Final Melody? Все это с такой ясностью читалось на растерянном лице Баса, что и я заразился его мыслями и на мгновение утратил ощущение себя самого. А потом вдруг до меня дошел комизм ситуации – и я стряхнул с себя паузу.

– Бас, кончай пялиться, это я, – сказал я. – Гарантированно я. Показать тебе паспорт?

– А что, покажи, – согласился он, просыпаясь. Он подвигал плечами, живот его мерно поднялся и опустился под курткой. За эти годы он раздался вширь, набрал веса, стал неплохо весящим дяденькой. Пиво, наверное, пьет. Теперь в глазах у него была веселая ирония. – Как ты тут очутился?

– Приехал тебя провести. Ты что тут делаешь?

Вопрос был вполне в стиле нашей прошлой жизни, жизни рок-н-рольных героев, которым небо дом родной, море по колено и всегда не хватает портвейна – смесь бессмыслицы и смысла. Понятно, что он тут, за этим лотком с кисточками, делал, и при этом непонятно, что он тут, за этим лотком с кисточками, делал.

Он пожал плечами и вдруг улыбнулся. Улыбнулся, чуть склонив обросшую голову к покатоному, обтянутому синей синтетикой плечу – и сказал дежурную фразу:

– А ты знаешь, я рад тебя видеть.

– И я рад тебя видеть, – эхом отозвался я – а дальше не знал, что делать. Двадцать лет назад мы расстались с ним на несколько дней, которые затянулись до вот этого сентября с мелким унылым дождичком. И группа

его исчезла. Куда делись люди, творившие безумие в Final Melody? Куда исчез Мираж, мрачный гитарист, игравший нескончаемые импровизации в темном зале, набитом хипней? Куда делся огромный барабанщик Роки Ролл, король ритма, создатель ровного звука, умевший за минуту нанести по барабанам и тарелкам триста ударов? Куда делось *всё*?

– Бас, а ты не можешь всё это сейчас послать? Мы бы посидели с тобой где-нибудь тут поблизости. Раз в двадцать лет можно и поговорить...

Он печально оглядел свое хозяйство. В глазах тоска.

– Не могу. Мне вставят пистон! Я материально ответственный, – это прозвучало как «Я прокаженный». Он покрутил брюхом под своей легкомысленной курточкой и подвигал руками в карманах, подтягивая разношенные джинсы. И хмыкнул.

Дурная мысль выкупить у него все эти тетрадки и дневники, всех этих Покемонов и зайцев, выкинуть их в Москва-реку и весело отправиться пить пиво посетила меня. Когда-то это был бы вполне рок-н-рольный поступок, который причислил бы меня к сонму героев – купил же Джим Моррисон однажды змей и ящериц в террариуме города Лос-Анджелес и выпустил их на свободу – но я уже давно ничего подобного не совершал, хотя мысли о таких поступках меня иногда навещали. Подарить букет из двадцати пяти красных роз новой секретарше председателя правления г-на Цурикова – как, кстати, зовут эту стерву в красных туфельках на каблуках? – и отправиться с ней кататься на речном трамвайчике. Медленно и сладострастно разорвать на глазах коллег годовой бизнес-план – сорок страниц, шестьдесят восемь пунктов – и легким жестом пиджона выбросить обрывки в окно. Сидеть за рулем, уносясь со скоростью ста шестидесяти в час в сторону Черного моря, попивая портвейн из горла и напевая *July Morning*. Эти мысли выскакивали сами собой – их

посылало мне глубоко запрятанное в лесах, отступившее вглубь степей, дрожащее во льдах жалким теплым комочком мое прошлое, мой рок-н-ролл, мой бедный преданный зайчик.

– Ты тут каждый день стоишь, Бас?

– Начало же учебного года! – возмутился он отсутствию во мне деловой сметки. – Тетрадки хорошо идут. А потом, может, встану на другой товар.

– Какой другой товар?

– Ну, газетами можно торговать. Дисками. Лучше дисками. Я люблю диски. Хо! Хей хо! – процитировал он Маккартни.

– А когда ты кончаешь?

– В шесть.

– А куда деваешь все это? – я чуть не добавил «барахло».

– Фургон приезжает и забирает. А ты думал, я на себе таскаю? Это бизнес, чувак!

Он снова хмыкнул. Это у него был многозначный, многоцелевой хмык – он говорил им о том, что все это странно, и что все это смешно, и что все это, если подумать, полный бред. Я с ним был согласен. Музыкант, басист, человек из самой таинственной и самой удивительной группы, когда либо существовавшей на наших скифских просторах – тихо стоит на задах Павелецкого вокзала и приторговывает с лотка. А где твоя бас-гитара, брат мой? Где книга твоих мемуаров на прилавке модного книжного шопа? И одновременно он этим хмыком извинялся за себя, за свое нелепое положение.

К этому моменту я ещё не был уверен, что скажу через секунду. Может быть, мы перебросимся парой ничего не значащих иронических реплик – и расстанемся ещё на двадцать лет. Я в последнее время опасался друзей прошлого. Не стоит думать обо мне хуже, чем я есть: я опасался их совсем не потому, что

они могли попросить у меня денег. Нет, причина в другом: говорить с ними было совершенно не о чем. «Ты помнишь того-то?» – «А ты помнишь того-то?» – «А ты помнишь, как мы сто лет назад пошли в „Метелицу“ и украли у официанта бутылку вина?» Оставалось выпивать, но выпивать с ними было то же самое, что выпивать у метро с любым бомжем. Три четверти тех, кто когда-то был одушевлен музыкой, любовью и свободой, теперь превратились в пахнущих перегаром дегенератов. И я ловил в облике Баса черты и черточки вырождения, пытался услышать интонации профессионального неудачника, разглядеть грязные ногти и красные алкоголические прожилки в глазах. Но ничего этого не было. Глаза у него были светлые и веселые, а руки, которые он наконец извлек из карманов – хоть и красные от холода, но чистые. Я посмотрел на часы. Было полшестого.

– Хочешь, попьем пива, когда ты закончишь?

– Холодно сегодня для пивка, – сказал он. – Ну можно вообще-то. А что ты будешь делать полчаса? Постоишь со мной? Поторгуем на пару? Он хмыкнул весело.

– Съезжу заправлюсь на набережную.

Я не поехал заправляться на набережную – у меня был почти полный бак. Это была отговорка, чтобы не стоять с ним полчаса у лотка, в ожидании, пока закончится его рабочий день. Я сел за руль и тут же ушел с Дубининской в переулки. Мне было все равно, где кататься полчаса, но все-таки лучше это делать на хорошем асфальте. Я задумчиво ехал по тихому переулку со смешным названием – улица Щипок, это надо же – и вспоминал, где и при каких обстоятельствах видел Баса последний раз...

Я видел его последний раз на репетиции Final Melody перед самым их распадом. По странной случайности, происходило это неподалеку от тех мест, где он теперь торговал и по которым я сейчас ехал. Тут, в одном из переулков, был дом культуры, где в самом конце своей бурной истории группа репетировала. Это было летом 1981. Ну да, а распалась группа осенью. Я не смог бы сейчас этот ДК найти в сплетении тупичков, проулков, складов. Где-то тут, да, где-то тут... я помнил ранний летний вечер, светлое небо давно ушедшей и ставшей как сон брежневской Москвы, пустынную улицу в обрамлении бетонных заборов, за которыми громоздились груды строительных плит и штабеля кирпичей, трамвайные пути, с травой между шпал, серый куб ДК и широкие ступеньки, ведущие к стеклянным дверям. В темном вестибюле с гардеробом, сюрреалистически сиявшем сотнями никелированных вешалок, сидел за столиком с телефоном старичок-вахтер в черном кителе вечногo железнодорожника. Он злобно побуравил меня глазками. В моей холщовой самодельной сумке, вызывающе раскрашенной в цвета американского флага, – за такую сумку тогда вполне

могли забрать в милицию – предательски звякнули три бутылки портвейна.

Как ни странно, репетиционный зал, в котором тем летом Final Melody готовила свою новую программу, был вполне уютный. Я говорю «странно», потому что само понятие уюта не вязалось с этими людьми, двое из которых явно находились на грани сумасшествия. Для их музыки больше подошел бы гигантский ангар с летучими мышами под потолком или голое поле аэродрома. Они были бы хороши перепившимися на Вудстоке, наширявшимися в Хэйт-Эшбери, но волею обстоятельств им пришлось жить и играть в Москве восьмидесятых, и они справлялись с этой задачей, как умели. Небольшой квадратный зал, мест на сто, уставленный рядами сколоченных в ряды кресел с откидными сидениями, обитыми черным дерматином. Неглубокая компактная сцена, над которой висел красный плакат с белыми буквами «Решения XXVI съезда партии – в жизнь!», заставлена аппаратурой, по полу струятся провода, в углу сцены огромный гипсовый бюст Ленина на обитом кумачом постаменте. У постамента, на полу, небольшой натюрморт: круг изоленты (они периодически ремонтировали свою разваливавшуюся аппаратуру, перебинтовывали провода), термос с чаем, бутылка портвейна...

За ударной установкой сидел голый по пояс громадный человек в фетровой шляпе на длинных светлых волосах и жонглировал барабанными палочками. У него были грудные мышцы боксера – выпуклые, безволосые, блестящие от пота. Палочки без всяких усилий с его стороны, сами собой, плавно парили в воздухе, словно связанные друг с другом невидимой ниткой, и также плавно приземлялись в ладони. Следуя ритму, который звучал у него в голове, он через равные промежутки времени с расслабленной улыбкой то ли добряка, то ли дебила обрушивал двойной удар на

большой барабан – и опять продолжал свои цирковые развлечения жонглера... Это был Роки Ролл – барабанщик Final Melody.

В центре сцены стоял длинный, тощий, обросший и небритый человек в черной майке с короткими рукавами и в синих джинсах, прорванных над правым коленом. С дырки свисала белая растрепанная бахрома. У него было бледное лицо человека, одержимого тайным пороком, и глубоко сидящие глаза, глядящие с тем суровым неодобрением, с каким смотрят на посетителей зоопарка орлы и сапсаны. Гитара – черная, сияющая, с серебристой вставкой, – висела у него на широком, расшитом индейским узором ремне. – Ты заткнешься, Магишен? – спросил гитарист, гражданское имя которого было мне, конечно, известно, но которое не имело никакого значения, ибо он был – Мираж. – Магишен, заткнись, прошу тебя, френд! Ты мне мешаешь, козел! – сказал он с усталым смирением человека, вынужденного по двадцать часов в сутки общаться с идиотами.

Орган в ответ пискнул мышкой и испустил игривую фразу, в которой я узнал многократно ускоренную и спародированную мелодию из *Прощальной симфонии* Гайдна. Большой барабан в ответ молодечески ухнул. Человек по прозвищу Магишен, лица которого не было видно за двумя свисающими потоками длинных волос, помахал правой рукой. Вслед затем орган захрюкал. И он хрюкал беспрерывно, все то время, пока палочки блаженно улыбающегося Роки Ролла выписывали виньетки в воздухе...

Мираж с ненавистью глянул в зал – на мгновение у меня на переносице возникло ощущение холода. Его взгляд пролетел мою голову насквозь и уперся в стену. Стена не поддавалась его безумию. Это была *классика* – свихнувшийся гитарист, в голове у которого уже клубились психоделические импровизации. Остальные

ему мешали. Он крутанулся на кривых, стоптанных каблуках своих пыльных вельветовых туфель, раздраженный тем, что видел и слышал: дурачащийся органист, жонглирующий барабанщик, припершийся в зал энтузиаст, упрямая, не желающая падать стена... Сидя за рулем машины, неспешно витающей по мокрым переулкам в районе Павелецкого вокзала, я словно видел его перед собой таким, каким он был в тот вечер, когда, стоя спиной к пустому залу, устраивал гитару на плече. Я видел, как переползают по спине его лопатки, видел изгиб его позвоночника и движение тонких, не способных и раза отжаться рук. Потом, через какое-то время, я увидел, как пошел в сторону и описал круг его локоть. Это он медиатором провел по струнам – зачерпнул звук. Гитара загудела ровно и монотонно, она гудела с протяжной бессмысленностью ветра в тундре, и в какой-то момент показалось, что у этого унылого гудения нет ни начала и ни конца – поток воздуха, ровным фронтом текущий к горизонту. Но долго это не продлилось, вдруг внутри потока что-то взорвалось – трах! шарах! бабах! – вспыхнул огонь, и тут же из грохота вылепилась мелодия.

Группа врубилась. Они наяривали с серьезными лицами. Мелодия летела, сверкая серебряными звездами, брызгая желтыми искрами, в обвале подключившихся ударных, в упругом пульсировании ожившего баса, в упорном, непрестанном хрюканьи органа, который не сдавался и настаивал на том, что он свинья. Пипл, lets go! – в восторге завопил Роки Ролл, окончательно приземляя палочки в ладони и с дикой силой обрушивая их на тарелку. Он барабанил тяжелыми, толстыми концами – не в виде исключения, а всегда. Так выходило тяжелее, мощнее, громче. Репетиция началась.

На репетициях Final Melody летом 1981 года не происходило ничего, что напоминало бы обыкновенную

работу над музыкой, которая, как известно, состоит из усердного многократного проигрыша вещей и их частей, прерываемого обсуждением музыкальных деталей. Репетиция – то есть не сама жизнь, а подготовка к жизни – им претила, они не хотели тратить часы на подготовку и предпочитали сразу врубиться с максимальным драйвом, сразу загрохотать по кривым расходящимся рельсам в свой бред. Мираж гнал соло вперед во все убыстряющемся темпе. Это был его стиль – одним рывком, в несколько мгновений, преодолевать область рутинного, среднего, привычного. Здесь ему делать было нечего. Он стоял спиной к залу, опустив голову, неподвижно, с напряженными плечами, и только иногда его белый анемичный локоть совершал внезапные рывки или круговые движения, как будто он вытягивал жилы из своей гитары или вырывал из неё её электрическое сердце. Он был худ, астеничен, у него торчали ключицы и была хлипкая шея, на него в некоторые моменты его страданий было больно смотреть – и при этом он умудрялся быть сильным и даже brutальным. Он расправлялся со звуком решительно, как мясник. Он распластывал звук, поднимал его ударом бича, заставлял его прыгать и течь, резал его на куски, рвал на части.

Каждый раз, когда он начинал своё соло, я знал, что предстоит испытание нервов. Уже взлетев на немыслимые высоты, уже закрутив вокруг слушателя сияющие раскаленные спирали гитарного звука, он вдруг – я думаю, умышленно, не без садизма – обрывал тему и опять заставлял гитару выть. Они играли – всегда играли – на пределе звука, на полной мощности аппарата, который по нынешним временам показался бы допотопным до крайности: гэдээровские комбики, чешские микрофоны, польские усилители... Я был, как я уже сказал, завсегдатай концертов, я слышал в те годы

«Машину времени», и «Воскресенье», и «Рубиновую атаку», и «Аквариум», и «Високосное лето», и это тоже были совсем не тихони и отнюдь не пай-мальчики, но никто не играл с такой наглой и мрачной агрессией, как Final Melody. В те годы в советских газетах постоянно появлялись статейки о том, что рок-музыка вредна для здоровья, в частности, для ушей, у рок-музыкантов и их слушателей якобы катастрофически падает слух – вообще-то я не воспринимал эти дурацкие статейки всерьез, но Final Melody доказывали вредность рок-н-ролла для жизни каждым своим явлением. С ними если не сойдешь с ума, то хотя бы оглохнешь. Я открыл рот, пытаюсь ослабить давление звука на перепонки. Одна из двух герлушек, которых притащил на репетицию Роки Ролл, жалобно улыбаясь, держалась ладонями за уши. Пол под ногами вибрировал, так, словно по улице мимо ДК проходила колонна танков. Эта была музыка такой интенсивности, которой никто тогда не достигал во всем мире, даже Led Zeppelin. Но больше всего меня поражало, как быстро они попадали в это свое безумие. Им и минуты не нужно было.

Гитара Миража истошно выла на высоких тонах, визжала, заходилась в экстазе. Роки Ролл с просветленный улыбкой бешено лупил по барабанам. Орган взвизгнул, пиликнул, испустил трель, разразился бурным размышлением о бренности бытия, бас-гитарист резким движением лицевого мускула перебросил потухшую сигарету из одного угла рта в другой... Давление меняется – это больше не воздух вокруг меня, а звук, плотный, как вода, мощный, как ветер, он толкает меня в грудь, он грозит оторвать меня от пола, он качает и увлекает, он вызывает сердцебиение, этот свирепый грохот.

Мы сидели с Басом в пивном ресторане «Золотая вобла» на Добрынинской, за столиком на втором этаже, у окна. Зал был пуст и сумрачен, за окном сгущался вечер. Осенью в вечернем свете улицы всегда есть что-то, вызывающее тоску – у меня, во всяком случае. Мы взяли пива и одну рыбную закуску на двоих.

– Я пришел в группу уже тогда, когда в ней происходило что-то дикое, – начал Бас свой рассказ и отхлебнул. – Я играл в «Чертовой Дюжине» – была такая команда, ты помнишь – и вдруг мне однажды звонит Мираж. Я прибалдел. Так и так, не хочу ли я поиграть в Final Melody? Предложение офигительное, что называется, с ног валит. Ну, понимаешь, это тогда было для меня примерно также, как если бы Джимми Пейдж позвонил в мою коммуналку на Покровке – я тогда жил в коммуналке на Покровке, в доме над гомеопатической аптекой, и мне там девочки по знакомству отпускали всякие травки для успокоения души – и пригласил поиграть с Led Zeppelin.

Я повел себя в высшей степени благородно: сказал, что не могу вот так, с бухты-барахты, бросить «Чертову Дюжину», а должен сначала подыскать на мое место человека, ввести его в состав. Это во первых. А во вторых, говорю, у вас же там на басу О'Кей. Он про О'Кея мне не ни слова, а про «Дюжину» сказал: «Ладно, давай, подыскивай себе замену, мы ждем». Вообще, осенью 1980, где-то в октябре, я пришел к ним. Кстати, что случилось с О'Кеем и отчего он ушел из группы, я до сих пор не знаю. Они на репетициях даже не упоминали о нем, а если и упоминали, то с презрительной интонацией. Складывалось впечатление, что он умер,

причем позорной смертью, от сифилиса, например... Или, возможно, обокрал их всех и свалил.

С самого начала, как я пришел, мы репетировали новую программу. Ничего больше не происходило, мы с осени 1980 по лето 1981 репетировали новую программу. Концертов не давали. Я с ними всерьез на публике почти и не сыграл, а жаль. Мираж от всех предложений отказывался. Нет, раза два все-таки сыграли за это время, был один концерт в Долгопрудном, мы играли вместо двух часов четыре, и в конце концов нам вырубili аппаратуру, но Роки Ролл барабанил до последнего, не хотел уходить с уже пустой сцены. Другой раз концерт был в доме культуры в городе Алексин, там вообще все кончилось полным дебошем. Магишен там поджег себе волосы. Ну да, просто достал зажигалку, щелкнул у головы – и запыхал. Его потушил огнетушителем осветитель, и потом он же вывалил ему на голову ведро песку. Роки Ролл дал осветителю в зубы, на сцене возникли дружинники с повязками, тут же вылез какой-то старик с орденскими планками и седыми волосами в ушах и стал орать диким голосом, что не позволит монархистам позорить Советскую власть... И после этого концерта, завершившегося дракой Роки Ролла со всеми окружающими, Мираж вообще никаких предложений не принимал, даже разговаривать отказывался. Он рассчитывал в сентябре начать все заново – с новым звуком, с новыми вещами. Там ему деньги какие-то большие предлагали, пятьсот рублей, тыщу рублей, хорошие залы, то да сё... он всех слал.

Я вообще только в эти месяцы, когда мы репетировали новую программу – они называли её *vitauova*, – понял, что такое рок-н-ролл. А я ведь к этому времени уже лет восемь играл в разных командах и много чего о себе думал. Это не были репетиции в привычном смысле слова – они не тренировались, они

жили. Каждый раз играли каждую вещь по-новому, с новыми акцентами, но на следующий вечер уже не могли воспроизвести своих вчерашних импровизаций и делали все опять по-новому. Они не могли быть одинаковыми и ловили от этого кайф. К марту или к апрелю мы уже сыгрались до такой степени, что готовы были играть хоть на «Уэмбли» в присутствии леди Ди, но они все трое были так настроены, что ни о каких концертах речи быть не могло. Они каждый вечер играли в пустом бункере. Понимаешь, мы запирались в этой бетонной коробке и играли до часу ночи, когда приходил старый хрен в черном потертом кителе и выгонял нас. Мы ловили тачки и разъезжались, метро уже не ходило. Они бы играли всю ночь, но все-таки заканчивали, потому что боялись, что если будут нарушать, их выгонят из зала. А так – могли сутками там сидеть и без усталости делать музыку. Ни для кого. Для самих себя. Для стен этих голых, ты понял?

Мы там давали потрясающие концерты. В зале никого или почти никого. Редкий случай – пара приглашенных, девицы какие-нибудь, которых Роки Ролл притащит, он из них был самый жизнелюбивый, Мираж и Магишен вообще были дурки, крезанутые по полной программе. Говорю тебе, это так. Мираж периодически ложился в Кащенко. Запрет двери, зажжем весь свет, – или, наоборот, весь свет потушим, – Мираж встанет к залу спиной, поерзает плечом – и поехали. Новая программа состояла из шести вещей, пять из них были приблизительно одного размера – минут по шесть-семь. Это были такие драйвовые, мощные вещи, которые могли поднять на ноги умершего – с жестким ритмом, с резкими соло на гитаре и органе. И была ещё шестая вещь, нормативная протяженность которой – я до сих пор это помню – составляла 21 минуту 60 секунд. Она так и называлась: *21:60*. Не смотри на меня как на идиота, это не я идиот,

а они. В зависимости от их настроения и состояния, от погоды и количества выпитого, эта *21:60* могла занимать от 22 минут до полутора часов.

Атмосфера на репетициях была такая, что мне часто не хотелось туда идти. Да, да. Как это объяснить тебе, не знаю. Это было потрясающее переживание для меня как музыканта, то, что я там слышал и делал, это был такой великий experience, но одновременно это было очень тяжело в человеческом смысле, потому что там был сплошной и откровенный депрессняк. Роки Ролл был ещё ничего, с ним я находил общий язык, с ним и его герлами и его портвейном, но те двое, Мираж и Магишен, были невозможны. Они были... как это сказать по-русски?... в постоянном дауне. Дип даун, френд, ты меня понимаешь! Оба психованные. Такое складывалось ощущение, что они по ночам три года не спят, неделями не едят, месяцами воды не пьют, а только сидят в углах и себя накручивают. Они друга друга заводили. От них било электричеством, трехфазным током. От Миража сильнее, чем от Магишена, Магишен был больше углублен в себя, он же был Великий Шаман – он сам себя так называл. Great Shaman of Moscow Psihodelia. Он тогда в коммунальной квартире на Страстном бульваре устроил сепаратный проект, лабораторию водяного звука. Ты слышал? Ну да, кто тогда про это не слышал, все слышали...

В ванной там у него стояли колеса, отодранные от детских колясок, – он воровал детские коляски, угонял их с лестничных клеток, – он приделал к ним лопасти и лил на них воду, бил хрустальной палочкой по валдайским колокольчикам, которые висели на бельевых прищепках, играл на колесной лире и писал все это на скорости девятнадцать на «Комету». Питер Габриэль свихнется от зависти, когда все это услышит. Так он говорил. На репетициях он считал, что ему все мешают, особенно Мираж со своей гребанной гитарой.

Вообще-то звук Final Melody создал именно Магишен, тяжелый, с фузом, с квакающим и воющим органом, и при этом этот его витающий вокал, которым он пел никому непонятные кратенькие тексты типа: «Вот пошел снег, откуда взялся этот снег, пошел-пошел он, этот снег, и нам всем опять настает абзац». Он их сам писал. Он подвывал, тоненько так, жалобно. Ощущение жуткое, просто конец всему. А Миражу это все было по фигу, все эти заклинания Магишена на Бахе, на японской средневековой поэзии, на природном звуке льющейся воды, эти его соревнования с Эмерсоном, кто лучше аранжирует Мусоргского или Грига. На этой почве они с Магишеном не сходились. Они друг с другом не разговаривали по несколько репетиций подряд. Слали друг друга матом.

После репетиции оба разлетались в разные стороны, Мираж и Магишен. Молча собирались и уходили, не прощаясь. Меня это доставало страшно: ну даже не кивнут, не бросят «Пока!» или «До следующего раза!». Куда они уходили, я не знаю, но оба уходили с таким видом, что вот, пока мы тут с Роки будем наслаждаться жизнью, то есть пить портвейн и есть плавленые сырки, они идут взрывать мосты и минировать железные дороги. Занятые люди, ничего не скажешь. Ну, у Магишена, я уже сказал, были свои сольные проекты и связанные с ними дела, то он едет за дудкой на Полежаевскую к какому-то френду, то встречается на Киевской с чуваком, который обещал ему продать старую виолончель. В этой лаборатории водяного звука на Страстном у него собирался кружок посвященных, нечто вроде секты, они пели хоралы, он собирался выпустить диск водяной музыки с хоралами, я один раз туда ходил и играл с ним на ксилофоне, принимал участие в записи произведения под названием «Концерт для колесной лиры, дудки и воды а dur», причем это самое «dur» означало посвящение дуркам, с

которыми автор познакомился в Кащенко, когда навещал лежавшего там Миража. А куда уходил Мираж и что он вообще делал в то время, когда не играл на гитаре, я не знаю. Он был похож на человека, который в свободное от музыки время может делать *что угодно*. В нем была дикая несвязанность с миром, просто атас какой-то. Может грабить людей в темных переулках – фигачить их молотком по голове и вытаскивать из кошельков трешки, а десятки оставлять. Может фарцевать – продавать гитары и прочую аппаратуру. Через его руки, только за то время, что я с ними играл, прошло гитар десять. А может, он вообще ничего не делал, а, уходя, впадал в летаргию до следующей репетиции.

После репетиций у меня с ним никакого общения практически не было. Он укладывал свой черный Стратокастер в футляр и уходил. Он был худой, с длинными ногами, ноги переставлял очень быстро, у него была такая устремленная походка, как будто он разбегается, сейчас взлетит, лбом пробьет потолок и умчится в небо со свистом. Я бы не удивился, если бы узнал, что он со своей гитарой спит. Не в том смысле, что спит рядом с ней, а в том смысле, что занимается с ней любовью в извращенной форме – завязывает ей струны узлом, сладострастно выламывает колки... То, что он вытворял с ней на сцене, было сексом. Я не имею в виду, что он принимал эротические позы, засовывал её между ног или играл языком, как это одно время делал Б.Г. – кстати, выглядели эти извращения у Б.Г. жалко. Мираж такие штучки считал дешёвкой. Вообще он был статичен на сцене. Он не прыгал, не скакал, не двигался. Звук двигался, а не он. Ему надо было сосредоточиться, и поэтому он стоял всегда спиной к залу. Каким звуком он заставлял свою подружку звучать и в какой экстаз её вводил... ты это слышал.

Кто-то говорил мне, что у него дома было пять электрических гитар одна лучше другой – там была у него даже джазовая гитара Gibson, выпуска пятьдесят какого-то года, и две акустические, очень ценные, чуть ли производства самого Леса Пола. Откуда он такие мог в те годы взять, я понятия не имею, я никогда не был у него дома и этих гитар не видел. Но на правду похоже – он был фанат гитар. Он их откуда-то брал и, прежде чем продать, пробовал. Он их любил не за то, что они хорошо звучат, а за то, что они гитары – ты понимаешь разницу? Я помню, он однажды приволок в бункер фиолетовую уродину, сделанную на уральском танковом заводе, и всю репетицию с мрачным наслаждением исторгал из неё утробный рев. И помню его фразу, как он говорит, глядя мне в лицо, с абсолютно серьезным видом: «Ты слышал, как она? Ты понял? Нет, ты понял, Бас?» И дальше с восторгом: «Эта гитара – дочь танка!». Для него это не были просто слова, просто треп, в его мире – там, за стенками его черепа – эта гитара действительно существовала в каком-то странном виде, может быть, как хорошенькая девушка на гусеницах, а может, как автомат Калашникова с грифом вместо ствола. И он из этого грифа палил по всем упырям: та-та-та-та...

В головах у них постоянно клубился дым – видимо, тот самый, который Deer Purple пустили над водой. Между собой они иногда перебрасывались репликами о том, что, значит, вот, вчера они играли с Джимми Пейджем, импровизировали, значит. Где? Да черт его знает где! Это Мираж вполне мог сказать, и никто его не спрашивал о том, где он отыскал Пейджа, ну не на Плешке же среди нашей родной хипни он его встретил. А Магишен мог сказать что-нибудь вроде того, что Марк Фарнер его зовет в Grand Funk, но он не пойдет, потому что слабая группа эти Funk, ему в такой слабой группе со своим выдающимся органом делать нечего. Так он

говорил, с понтом. Само по себе в таких речах ничего странного не было, тогда все беспрерывно прикалывались и несли чушь, но дело в том, что они не прикалывались. Они говорили это абсолютно серьезно. Психоделия – по-русски говоря, бред – была у них в головах. Они сидели в бетонном бункере на железной дороге и рассуждали о том, что завтра им играть с Chicago в Нэшвилле, а Гиллан обещал сегодня прийти на джем-сейшен и не пришел – он вообще-то динамист, Гиллан. А дочь танка фачится – помнишь такое словечко? – с большим барабаном. И я, после того, как слушал это из репетиции в репетицию, уже не мог категорически сказать, что они бредят, я допускал такую возможность, что они где-то там у себя, в каком-нибудь притоне, выпивают по литру водки с седуксеном, погружаются в транс и вступают в спиритический контакт с Пейджем, Лордом и Гитарой, дочерью Танка...

С Роки Роллом у меня отношения были вполне дружеские, мы несколько раз после репетиций распивали с ним бутылочку портвейна. Или пару бутылочек, тройку бутылочек, квартет и октет... Он был проще тех двух, барабанщик, все-таки. Любил барабанить, и все дела. Я думаю, игра в пустом зале его тоже доставала, но он никогда никаких претензий не предъявлял, понимая, что с Миражом говорить бессмысленно. Тот решил, что надо пятьдесят лет провести в бункере на Павелецкой, отработать эту карму – значит, будем пятьдесят лет жить в бункере. Он старался сделать жизнь там приятной: принесет бутылочку, расскажет анекдот, герлушки, опять же... Однажды мы после репетиции поехали с герлами к одной из них, я помню, была большая квартира где-то на Преображенке, без родителей, которые в тот момент уехали на дачу, и на этом фледу мы провели два дня и две ночи, постоянно распивая портвейн и в перерывах

между сеансами секса сходясь на кухне и ведя там длинные разговоры о дзен-буддизме. Мы считали Советский Союз чем-то вроде тысячелетней китайской империи, которая будет всегда и в которой единственный способ продержаться – исповедовать философию буддизма. Роки Ролл в будущем собирался стать, как он выражался, «профессиональным буддистом», хотел отправиться учиться в бурятский даоцан.

Записей не осталось, что обидно, – сказал Бас. – Всякого дерьма записано навалом, а от Final Melody не осталось ничего.

Он хмыкнул и ласково подергал себя за свою рыжеватую бороду, как бы проверяя, крепко ли она держится. Откинулся на спинку стула.

– Ты никого с тех пор не видел?

– Никого.

– А что кто делает, не знаешь?

– Подевались все куда-то... Ты ведь тоже куда-то делся, да? Ты вообще что делаешь?

Я не стал отвечать на этот вопрос. Пожал плечами. На такой вопрос у меня не было достойного, вразумительного ответа.

– Знаю только, что Роки Ролл теперь тусуется в клубе «Дыра», – сказал Бас. – Чуть ли не хозяин он там. Бизнесмен и деятель шоу-бизнеса.

– Во дела!

– Дела, – подтвердил Бас. – Я и сам удивился, когда услышал. Но вроде так. Слушай, давай еще пива!

Дождь за окном пошел со всей силой. Мы слышали, как он барабанит по железному карнизу. Небо потемнело. Люди на тротуарах открывали зонты, убыстряли шаги.

В субботу я произвел археологические раскопки древнего культурного слоя в шкафу на лестничной клетке. Я потратил полчаса на борьбу с барихлом (старая обувь, трехлитровые банки, курточки, из которых Аркаша давно вырос, заляпанная известкой стремянка...), отодвинул ведро, в котором лежали ленты поролонa, с грохотом спихнул на пол тяжелые лыжные ботинки – и в результате вытащил на свет божий запыленный картонный ящик, набитый бобинами с пленкой. Прослушать все это у меня нет никакой возможности – за отсутствием пленочного магнитофона. Я внес ящик в комнату и высыпал его содержимое на ковер. На коробках сохранились аккуратные, цветными фломастерами сделанные надписи – рассматривая их, я понял, что у меня за двадцать лет радикально изменился почерк. Любoй специалист по каллиграфии подтвердил бы, что рок-фэн восьмидесятых и нынешний менеджер страхового общества «Линэкс» (с участием иностранного капитала) – два разных человека. Я нашел тут «Зоопарк», и «Удачное Приобретение», и «Машину», и Градского, но записей Final Melody, конечно, не было. Их не было не только у меня, их не было вообще ни у кого в мире. Бас сказал мне об этом вечером в «Золотой вобле», но я и сам знал это. Я сидел на полу, среди разбросанных по коврику красных, зеленых и оранжевых коробок с пленкой не существующей уже гэдээровской фирмы «ORWO» – и чувствовал себя как посетитель кладбища, гуляющий среди могил давно усопших людей.

Мираж по каким-то своим, непонятным простому Басу соображениям, не желал записывать музыку на

репетициях последних месяцев, хотя программа под названием *vitanuova* была полностью готова; но он не желал. Я вполне понимал – нет, не умом понимал, а солнечным сплетением чувствовал и помнил давней памятью – безумие, ветром шумевшее в голове мрачного гитариста, главным побуждающим стимулом которого было: *Всех послать*^[1]; но все-таки это было странно. Неужели в его демонстративном, показном, патетическом нежелании иметь дело с миром не было хотя бы небольшого тайного изъяна? Сидя на ковре с поджатыми ногами, я поглядывал в окно на сырое неподвижное небо и напивался от него сомнениями. Ну неужто же Тропилло ни разу не притащил на концерт Final Melody свой аппарат? Ладно, пусть так, пусть не притащил. Но даже если знаменитый мэтр подпольной звукозаписи и не записал ни одного их концерта, то и это не означало, что ничего не сохранилось: были же любители, писавшие группы на бытовые магнитофоны. Да, притаскивали магнитофоны в залы и зальчики, ставили микрофоны на край сцены. Жуткие записи, ничего не слышно, рев, свист, топот, буханье барабанов, но я был бы рад и такому бутлегу. Уж если Моррисона записали так – я имею в виду *highschool confidential*, – то отчего же тогда не быть записанной Final Melody?

Все это казалось мне сегодня – в субботу, в свободный от работы день, в пустой и тихой квартире – довольно-таки странным. Сохранились рукописи Кумранского моря, и китайские письма на папирусе, и греческие амфоры, и рукописи Рембо, и партитуры Моцарта. Как будто кто-то заботливый оберегал все эти вещи от исчезновения, не давал им сгореть и утонуть, сгинуть без следа в катастрофах или исчезнуть в желудках крыс на чердаках старых домов. Так отчего же заботливый Некто, сохраняющий записи фараонов

на глиняных табличках и нервные россыпи нот на толстой линованной бумаге восемнадцатого века, пренебрег Final Melody? *За что?*

Возможно, Бог по натуре коллекционер, – предположил я в сеансе этого субботнего философствования. Он запустил процесс и отбирает для себя его лучшие плоды. Поскольку сущность Бога бесконечна, то и проявления её бесконечны: Он собирает планеты и звезды, горные цепи и океаны, картины и книги, Он филателист и нумизмат и, конечно, меломан. Можно предположить, что потере и последующему уничтожению подлежат вещи некачественные, – как иначе объяснить взрывы звезд и гибель цивилизаций и планет? – но я не сомневался в качестве музыки, которую Final Melody играла в бетонном бункере на Павелецкой двадцать лет тому назад. Если в мире есть некоторая доля справедливости – я имею в виду не справедливость в отношении отдельных людей, а нечто более высокое, – то эта музыка должна была сохраниться! И если она не сохранилась, то причина могла быть только одна: Мираж и Магишен предприняли все шаги для того, чтобы музыка ушла. Так я думал.

Даже нам, тогдашним мальчикам с длинными волосами, плохо связанным с реальностью, жившим внутри своих мифов и депрессий, словно внутри мыльного пузыря, пересказывавших друг другу истории о том, как Пит Таушенд в ярости разламывал на сцене динамики, а Джимми Хэндрикс изящно поджигал гитару, эта парочка – Мираж и Магишен – казалась безумной в превосходной степени. Мы спорили о том, всерьез ли Магишен поджег свои волосы на том легендарном концерте в Алексине. Не было ли это трюком? Ведь Хэндрикс из поджога гитары сделал трюк – заранее готовил баллончик с бензином, заранее предупреждал пожарных, которые стояли за сценой в

полной боевой готовности. Но Магишен был не таков – мы знали это. Акт самосожжения, а вернее, самоподжога, который он учинил, не был театральным трюком, а был апофеозом музыки, конечной точкой экстаза, до которого он себя довёл, импровизируя вместе с Миражом. Если экстаз требовал самоубийства, то они готовы были на самоубийство. Мираж, я слышал в те времена не раз, резал себе вены. Были концерты, на которых он играл с перевязанными запястьями. Может быть, уничтожение было их манией, а силу звука они могли черпать только в ощущении пропасти, на краю которой стояли?

Во всем этом было что-то странное, не вполне ясное, лишенное логики или, наоборот, наделенное непогрешимой логикой. Я-нынешний, я, доживший до зарплаты в конверте и турецкого синего махрового халата, в который уютно облачался дома по вечерам, этой логики не принимал. Я был для неё слишком хорошо встроен в жизнь, слишком мягок, слишком слаб. Желеобразный, лояльный, обычный. Но где же сталь рок-н-ролла, где умение быть одному против всех? Все это ушло. Я был зависим от жены и сына, которые были *моё все*, я, при всей своей внешней солидности, был внутри себя полон страха – страха потерять работу, лишиться медицинской страховки и хорошего автомобиля, страха зарабатывать столь мало, что не смогу ездить на Рождество в Париж, а летом летать в Лиссабон. Мы снимали там каждое лето на месяц апартамент. В конечном итоге именно *это* теперь была моя жизнь – и как надо было назвать всю сумму моих банальных опасений?

Вряд ли я боялся потерять *только* деньги. Это был страх смерти – именно он ударом в сердце заставлял меня просыпаться в три часа ночи и лежать с открытыми глазами в тоске, мучительней которой я ничего не знал. Иногда у меня даже вырывался стон,

который я гасил, утыкаясь в подушку, боясь разбудить жену. Это был ужас пустоты, ужасной, ледяной пустоты, которая уже маячила мне на горизонте. И я это знал. И снова мысль моя делала разворот и перебрасывала мостик к Final Melody. Какой они находили смысл в том, чтобы пять лет играть музыку на страшном напряжении всех чувств и потом исчезнуть, не оставив после себя *ничего*? Неужели возможно с ясным умом и в твердой памяти отказаться от завтрашнего дня, от возможности *остаться*? Я не верил в такой героизм и в столь радикальный способ самоубийства – я скорее готов был предположить, что речь тут идет о дзен-буддистском приеме, позволяющем достичь наибольшей силы сегодня за счет отказа от завтра. Если это так, если Мираж умышленно перекрывал группе путь в будущее, желая добиться наибольшей силы в настоящем, то тогда это был более решительный и последовательный рок-н-ролл, чем все, что существовало в краю праотцов, на легендарном Западе, где музыканты вроде Джанис позволяли себе прожить жизнь до конца, до полного её исчезновения – но все-таки, уходя, оставляли *тут* свою музыку. Эти не оставили ничего. Я понимал, что сколько не думай про это, сколько не строй версий и не ищи объяснений – загадка останется.

Я помнил концерт Final Melody в ДК «Энергомаш», на который пришел с девушкой Леной, которая позднее стала моей первой женой (сейчас у меня третья) – это было за пару лет до их исчезновения, значит, году в 80. Или 79. Лето. Мы ехали на троллейбусе, в окно влетал тополиный пух и запутывался в её длинных светлых волосах. Она была Ундина – блондинка с зелеными мечтательными глазами, с постоянной улыбкой на тонких розовых губах. Перед ДК, на асфальтовом плато, в теплом воздухе, пахнувшем бензином, шли навстречу друг другу герои автостопа и завсегдатаи сейшенов –

высокие узкоплечие парни в пестрых майках и в джинсах, туго обтягивавших ноги, с амулетами на шеях. Они демонстративно раскидывали руки и обнимали друг друга. Девочки с небрежными волосами, в курточках с бахромой, сидели рядом на корточках вдоль стены и смотрели в пространство пустыми медитирующими глазами. Мы прошли мимо них в зал. Освещения в общепринятом смысле – юпитеров, прожекторов – в зале не было, сочился только слабый свет из-за кулис. Я сидел с моей Ундиной во втором ряду, иногда оглядывался назад и видел сотни белых пятен в темноте, источавших возбуждение. Это всегда бывало так перед явлением Final Melody: дрожь вдоль позвоночника, зуд в ладонях и предчувствие музыки, которая сегодня вечером выпрыгнет из горящей головы Магишена...

Начало концерта было в стиле Final Melody – небрежным, дурацким, хмурым. Даже мрачные Doors не позволяли себе такого равнодушия к церемонии – всегда находился кто-то, кто торжественно возвещал перед их выходом на сцену: «Lady's and gentleman's, The Doors!». Final Melody в этом не нуждались. Героев не представляют. Они всё и всех видали в гробу. Они бродили по сцене с видом алкоголиков, ещё не отошедших от вчерашних возлияний. Зал закипал. Мираж вообще в такие моменты производил впечатление человека в отключке: казалось, он не понимает, куда попал. Он спотыкался о провода, налетал на стойки с аппаратурой, с большим удивлением глядел своими орлиными глазами на набитый пиплом зал, закладывал руки в карманы продранных над коленом джинсов и качался на каблуках... Магишен в длинном белом балахоне спившегося епископа вышел на сцену с бутылкой портвейна 777 в руках. Торжественным жестом церемонемейстера он поставил её на орган. Что-то из

Чио-Чио-сан наигрывал на прохладных клавишах в тот вечер этот эрудит в ожидании начала. О'Кей – да, тогда в группе ещё был О'Кей – сидел верхом на динамике и курил. В этом не было бравады и вызова – он не видел причины, почему должен бросать сигарету, выходя на сцену... Роки Ролл на заднем плане жонглировал.

Они переговаривались так, как будто кроме них тут никого нет, никуда не торопились, говорили друг другу что-то никому не понятное, вспоминали каких-то герлушек, ссылались на тибетскую «Книгу мертвых», спрашивали, куда подевался Джон (может быть, Леннон), бурчали что-то про плохой звук, а потом Мираж крикнул Магишену, причем микрофон, рядом с которым он стоял, разнес вопрос на весь зал: «Ты портвейн мне купил, придурок?» Они все время называли друг друга «придурками» и во время концерта для охлаждения распаленных душ пили портвейн. Зал взорвался хохотом, десятки рук поднялись вверх, предлагая Миражу початые бутылки, ответ Магишена не был слышен, потому что вдруг – грохот и рев! Рев и грохот! Пламя и огонь! Черт знает что! Черный задник колыхнулся, как от порыва ветра, и экспресс с воем понесся сквозь визжащий от восторга зал. Их концерты всегда начинались без предупреждения, как война.

Это был один из самых прекрасных моментов в роке, который мне приходилось переживать. Вялая расслабленность, сумрак, бормотание и брожение, полусон, полубред и вдруг – взрыв энергии, обвал тяжелого мрачного звука, пронизанного раскаленной докрасна проволокой гитарных соло. Они врубались так мощно и слаженно, что зал в первые же секунды концерта вскакивал на ноги, и сотни глоток разражались воплями без слов: «А-а-а-а!» Но крика не было слышно – Final Melody играла на чудовищном звуке, способном поглотить любой шум, существующий

на планете Земля, будь то вопль толпы, рев сирены, гудок корабля, стук поездов или грохот кузнечного пресса. И я, субботним спокойным утром сидя на тихой кухне с цветами на подоконнике – мы разводим цветы, у нас дома есть лимонное дерево в горшке, две герани и маленькая нежная фиалка – вдруг увидел этот восхитительный бедлам моей молодости: набитый зал, серый сумрак под потолком, опустивших головы, застывших гитаристов, увидел сыпящего во все стороны ударами Роки Ролла, похожего на ликующего многорукого Шиву, Магишена в белом балахоне, с плотно занавешенным волосами лицом – и зеленоглазую Ундину рядом с собой, с тополиным пухом, запутавшемся в длинных волнистых волосах...

Я слышал музыку. Я бродил по квартире, туда и сюда, с кухни в комнату, из комнаты в другую, бессмысленно касался стекол окна, нежно клал ладонь на лист герани, включал электрический чайник и забывал о том, что он вскипел... Этой музыки нигде не было в мире, ни одной катушки с записями не сохранилось – но я её слышал! Снова сидя на ковре, среди раскиданных коробок, я закрыл глаза, расслабил ладони вытянутых вдоль тела рук, вытянул ноги, погрузился в темноту, по которой медленно шли красные расплывающиеся круги. Сердце мое стучало, в то субботнее утро, после встречи с Басом, маясь воспоминаниями, я перепил кофе. Это была длинная композиция *Прощай навеки*, которой они всегда начинали свои концерты – мрачная и решительная вещь, в которой соло Миража было острым и сияющим, как лезвие ножа. На высоких тонах, в небесах и в далеком раю пела его гитара, в окружении угрюмого баса, в раскатке которого было что-то медвежье, в сопровождении ударных, которые взрывались, как связки гранат: «Трах! Трах! Ба-бах! Чух!». В конце этой вещи – первой же на концерте, – Мираж своим

пронзительным соло доводил всех до такого экстаза, что в зале визжали – да, герлы молитвенно складывали руки у груди и разражались визгом, я видел это собственными глазами, – а перед сценой человек двадцать длинноволосых хипов падали на колени и бились головами об пол. Это было похоже на моления сектантов, на истовый азарт посвященных: они касались лбами пола, потом резко откидывали головы назад, и длинные волосы – хайр на языке тех лет – раскрывающимся вихрем летели вверх. И было ясно, как всегда на концертах Final Melody, что добром это кончиться не может: или вот сейчас рухнет крыша, или пипл в экстазе разнесет сцену, или от музыки воспламенится воздух, или в двери ворвется милиция и всех повяжет, или Мираж, доведя свое соло до границ возможного и перейдя в невозможное, сойдет с ума и прямо с концерта будет отвезен в Кащенко.

Вечером следующего дня я подъехал к клубу «Дыра» на Профсоюзной. Только что прошел очередной дождь. В темном воздухе, пропитанном влагой, «Дыра» – длинное здание с задрапированными черной материей окнами – сияла неоновыми огнями, торжественная и тревожная, как собирающийся отплыть корабль. Прежде чем шагнуть в дверь, я оглянулся – по широкому мокрому тротуару беззвучно двигались редкие силуэты прохожих.

В маленьком фойе сиротливо бродили мальчики и девочки в хиповом прикиде. Они были тщедушные, интеллигентные, совсем не героические, и прикид у них был какой-то жалкий, лишенный подлинного шика: китайские замшевые курточки с бахромой, ученические рюкзаки за плечами, очки и шарфики. Мне стало жалко их – мимолетно, как котенка в снегу. Я прошел мимо них к дверям, в которых стояли два охранника в черных майках. У них были бритые крепкие черепа, которые невозможно расколоть даже ударом бутылки, и тяжелые бицепсы людей, проводящих досуг, качаясь на тренажерах. По фойе гулял сквозняк, но им не было холодно. Они не говорили ни слова – просто стояли, перекрыв мне путь.

– Ребятки, мне нужно найти господина Парамонова, – сказал я. – Вы должны его знать.

– Сегодня концерт, – сказал один. – Вход по билетам.

– Без проблем, – сказал я, купил в кассе сторублевый билет и снова встал перед ними. Девочки и мальчики-хиппи притихли, с интересом наблюдая, что будет дальше. Охранник надорвал билет и вернул его мне. Я сделал шаг в дверь, но они не расступились. Они

снова стояли передо мной с ничего не выражающими лицами и глядели мимо меня в пространство. Эта «Дыра» была неласковое место.

– Теперь в чем дело?

– Вы в верхней одежде.

– Это не верхняя одежда, – объяснил я им. – Эта куртка нечто вроде в пиджака. В пиджаке к вам можно?

– Нельзя.

– Слушайте, вы негостеприимны. В чем ещё к вам нельзя? В очках можно?

– Не хотите – не идите. В «Дыре» свои правила.

Они стояли передо мной в дверях с тем тупым спокойствием, которое бывает в хозяевах жизни – милиционерах, швейцарах, охранниках, вышибалах. Я перешел для них в категорию ничего не значащей мелюзги, вроде этих хиповых детишек, которые тусовались в фойе, не имея ста рублей на вход. Они ждали флайерсов. Что за группа играла сегодня, кого они надеялись услышать, на кого я купил билет? Мне это было все равно. Я сдал куртку в гардероб, прошел мимо охранников в черное нутро клуба и бросил билет в первую же урну.

В большом темном зале светилась только стойка бара. Бармен протирает бокал. Он держал его за ножку и делал быстрые скользящие движения белой салфеткой. – Что вы хотите? – неласково спросил он, глядя не на меня, а на бокал. Суровость с оттенком хамства – это был, видимо, стиль клуба; так понимали здесь рок-н-ролл. Я начал, что называется, *въезжать в атмосферу*. Бармен поднял бокал перед собой и долго глядел на него взглядом ценителя.

– Пятьдесят грамм водки.

Рюмка проскользила по стойке и мягко уперлась в мою ладонь.

– Где мне найти господина Парамонова?

Он поднял на меня глаза. Смотрел с тем же выражением, что охранники – с нагловатым, спокойным безразличием. Мне пришло в голову, что Роки Ролл тоже может оказаться типом с рыбьим взглядом и лапидарным лексиконом бандита. Я испугался этой мысли, этой возможности – и в очередной раз ужаснулся своей затеи. Сомнения одолевали меня постоянно – с того самого момента, когда я увидел Баса, стоящего за лотком. О прошлом можно вспоминать, и даже не без удовольствия, но стоит ли вот так – упорной ищейкой – выискивать его и нарываться на встречу с ним? Я не знал. Ещё не поздно было перерезать эту линию развития, отменить этот сюжет, ускользнуть из прошлого в настоящее, вернуться туда, где мне было привычно жить – в уравновешенную, налаженную, в меру скучную, в меру добротную жизнь отца семейства, имеющего хорошую работу, хорошую машину и красивую блондинку-жену, чья выставка косметики в ванной – цветные, роскошно пахнущие тюбики и баночки от Garnier, L'Oreal и Kenzo – приводила меня в экстаз. Так же как её белье от Lise Charmel. Но сейчас я почему-то с тихой нежностью вспомнил тополиный пух в волосах моей давней Ундины и её простенькие трусики.

- Вы его позовете?
- Как о вас сказать?
- Старый друг. Времен Final Melody.
- Времен чего?
- Времен его молодости. Он поймет.
- А, молодости, – сказал он равнодушно. – Сядьте, подождите.

Я сел на мягкий диванчик у стены. Все столики в большом темном зале с задрапированными черными окнами были пусты. Мои глаза привыкли к темноте, и я понял, что посреди зала, меж диванчиков, тускло поблескивая стеклом и никелем, стоит старый

автомобиль неизвестной мне марки. Без колес. Один кузов. Я сидел в темноте минут десять. Ничего не происходило, только глубокая тишина, как будто я находился не в клубе, а на дне моря. Жизнь начиналась здесь позже. Бармен за стойкой по-прежнему совершенствовался в протирке бокалов. Я выпил водку в два присеста. Тихой тенью проскользила девушка-официантка и спросила:

- Будете что-нибудь ещё?
- Я жду господина Парамонова.
- Господина Парамонова?
- Господина Парамонова.
- Он сейчас придет.

Она ушла. Я откинулся на спинку дивана. В конце концов, может быть, Бас ошибся, и Роки Ролл здесь не работает, а господин Парамонов – это кто-то совсем другой. Он выйдет, – клубный менеджер в бордовом пиджаке, с мобильным телефоном в руке – и я извинюсь за ошибку. Все они ведут себя так, как будто я не знаю пароля на вход в систему. Праздные мысли начали вращаться в голове. Возможно, эти опытные физиономисты сходу просекли во мне чужака – седые виски и дорогая кожаная крутка бросаются в глаза. Кого они во мне подозревают? Бизнесмена, приехавшего к г-ну Парамонову с ценным предложением о поставке девочек на Гавайи? Наркодилера? Почему охрана внизу заставила снять куртку? Чтобы убедиться, что я без оружия? В этот момент дверь за спиной бармена открылась, и в прямоугольнике света возник силуэт мужчины с размашистыми плечами. У меня не было ни секунды сомнения – я тут же узнал его. И ещё через секунду он чуть склонился ко мне, наши ладони встретились, я ощутил его мощное рукопожатие и услышал тихий смех.

– Так вот кто хотел меня видеть! – сказал он, не отпуская мою руку чуть дольше принятого. Ладонь у него была большая, горячая и очень дружелюбная. – Это мистер *MoonlightDrive* собственной персоной, – сказал он, называя меня одним из моих давних прозвищ. Я любил эту вещь Doors. И он, оказывается, это двадцать лет помнил.

– Роки Ролл, – сказал я.

Он выглядел как преуспевающий джентльмен. Длинные светлые волосы были стянуты назад и заплетены в косичку. Легкая небрежная бородка. Он был в черном пиджаке, светлых брюках и светлых кожаных мокасынах. Рубашка в тонкую голубую полоску, ворот рубашки расстегнут. На пальце перстень с черным плоским камнем. Не хватало платочка в кармане пиджака – я специально посмотрел на карман его черного, идеально сидящего пиджака и убедился, что платочка все-таки нет. Мы сели за столик – как нырнули в темноту. Снова бесшумно появилась девушка. – Будешь коньяк? Два коньяка, – бросил Роки Ролл, не дожидаясь моего согласия и не уточняя, какого именно коньяка, опустил руку в карман пиджака и достал зажигалку и пачку Marlboro. Щелкнул зажигалкой и закурил.

Язычок пламени осветил его лицо – я увидел прищуренные серые глаза, светлые брови, маленький косой шрам над левым глазом, русую изящную бородку. Это было лицо прежнего Роки Ролла, который когда-то восседал за ударной установкой в позе многорукого Шивы – но лицо, получившее новые черты. Дело было не в годах и не в возрасте – годы не так уж сильно повлияли на него. Но что-то было в нем абсолютно новое и даже чужое. Складка у губ? Прищур глаз? Двадцать лет назад Роки Ролл был человеком невероятного добродушия – теперь в его лице была сухая, жесткая четкость.

– Роки, – сказал я, – когда мы виделись с тобой в последний раз?

– Двадцать лет назад. В бункере на Павелецкой. Ты был у нас на репетиции, – без раздумий сообщил он. – Мы заканчивали *vitanuova* ...

– Да. А потом?

– Потом... – он посмотрел в свою рюмку коньяка. В коньяке плясал маленький верткий огонек. Рюмка целиком помещалась в его сильной и холеной руке. Белоснежный манжет сиял чистотой снега, запонка была золотой с черным плоским камнем – одного с перстнем стиля. Богатство не делало его пошлым, оно придавало ему аристократизма. – Знаешь, с чего началась *моя vita nuova*?

– С чего? Скажи.

– Ну, ты даешь. С запоя, естественно.

– Ну да, это понятно, с чего же ещё.

Мы чокнулись и выпили.

– Веселое было время. Я жил на даче, пил водку и закусывал яблоками. Всю осень питался одними яблоками, до сих пор помню их вкус. По утрам подбирал их с мокрой травы, они падали сами. С глухим таким стуком. Потом меня посадили.

– Тебя посадили? За что?

– За драку. Я подрался с тремя дружинниками на площади у Белорусского. Я их побил, они убежали и привели ещё пятерых. Я бился как лев. Один упал и укусил меня за ногу, вцепился зубами в щиколотку и не отпускал, как бульдог. Я бежал по площади с дружинником, державшим меня за ногу зубами! Ещё коньяка?

– Давай. Но я за рулем.

– Я тоже. В этом городе все всегда за рулем. Что же теперь, никому никогда не пить, что ли? Что мы все по рюмочке, как дети. Оля, девочка, принеси нам бутылку, пожалуйста, – сказал Роки Ролл, ныне господин

Парамонов, официантке. Она принесла. Я был благодарен Роки Роллу, что ему и тут не изменил вкус: он пил добротный армянский «Ахтамар», а не напиток новорусских нуворишей – «Мартель» или «Камю». Мы выпили. – Круче этого ноября у меня в жизни ничего не было. Даже в бизнесе – а я в начале девяностых ездил по стране с «дипломатом», в котором лежал миллион долларов наличными – я не переживал ничего столь экстремального. Я сидел в СИЗО, в камере с двадцатью двумя людьми, не мог спать, не мог дышать, не ел целыми днями. Если бы меня хотя бы на минуту оставили одного, я бы повесился. Мне все было безразлично – что со мной будет, сколько мне дадут. Отец мой на этом деле получил свой первый инфаркт, а я сидел в камере и думал совсем о другом. Там сидели уголовники, ты не поверишь, эти татуированные гориллы ужасно любознательные, у них были с собой тетрадки, и я учил их грамотно писать, объяснял им, что такое Вселенная, что такое гравитация... Ночью лежишь в духоте, беспрерывно кто-то кашляет, храпит, сопит... и слышишь звук.

Он сразу заговорил о том, что меня интересовало – не дожидаясь моих вопросов. Он как будто двадцать лет ждал, что придет кто-то, кому он сможет рассказать об этом. Он говорил спокойно, серьезно, самоуглубленно – солидный состоятельный джентльмен, о рок-н-рольном прошлом которого напоминали только артистически расстегнутый ворот рубашки и длинные волосы, схваченные в хвост черной резинкой.

Звук, – сказал он. – Этот звук... This sound... Он не смотрел на меня, а смотрел на чуть подрагивающий в коньяке круглый, размазанный огонек, который пускался в пляс при каждом покачивании рюмки. Он слышал звук также хорошо, как три дня назад слышал его я – звук прошлого, звук исчезнувшей группы Final

Melody. – Внутри пульсирует бас – упругий, как бедра девушки. Орган пляшет джигу. Работает драм, нагнетает ритм, в ритме угроза, это я сижу за барабанами. Мираж судорожно дергает локтем и начинает свое очередное шизофреническое соло... И я лежу на полу вонючей камеры и все это слышу.

Мы же были на пороге самого большого прорыва, который тогда только мог быть, – сказал он спокойно. – Мы готовились стартовать в Космос. Если бы нам это удалось, все бы изменилось. Final Melody стояла бы сейчас на равных с Deep Purple и Pink Floyd, а наши лица вырубili бы в кремлевской стене... Ты можешь себе такое представить? Он засмеялся. – Я был бы знаком с Ринго Старром, и мы с ним барабанили бы на пару на концертах Роя Орбисона. С тобой мы сидели бы сейчас в моем калифорнийском особняке.

– Что ты имеешь в виду? – не понял я.

– К нам в бункер приезжали люди из компании Десса, на которой писались тогда Rolling Stones, слушали нас и даже писали кое-какие вещи. Двадцать лет назад это была тайна. Великая тайна. Записи увезли с собой. Это была целая операция в духе фильмов о Джеймсе Бонде. Легально они работать с нами не могли, потому что мы были *никто*. Нас пасли гэбешники. Ну, Магишен одно время состоял в Тульской филармонии... а остальные и того не имели. Я работал дворником. Двое из Десса прилетели в Союз в обычной туристической группе. Менеджер и продюсер. Приезжали к нам в бункер из «Метрополя», по дороге меняли три раза такси. Мы подписали с ними предварительный контракт...

– У вас был контракт с Десса? – лицо мое само собой приняло удивленное выражение. Не ожидал.

– Ну да. В 1981 году. Предварительный. То есть там не указаны были суммы наших гонораров, проценты отчислений, это всё решалось позднее. Но гонорары нас

вообще не очень волновали в то время, потому что иметь такой контракт – это для нас стоило больше денег. Это был прорыв. Break on through, to the other side, – он изъяснялся, как в доброе старое время, строчками из песен. – Материал для диска мы должны были подготовить к концу года, диск выходил весной 1982. Все это было в контракте прописано. Но все рухнуло.

– Почему?

– А ты разве не знаешь?

– Чего не знаю?

– Почему мы распались.

– Слышал разные версии.

– Мираж пропал.

– Что значит пропал? Мне говорили, он уехал в Америку.

– Он пропал. Не пришел в четверг на репетицию. Мы прождали его до полуночи, он не появился. Звонили ему, жена отвечала, что он уехал в Ригу.

– У него была жена?

– Была.

– Господи, я и этого не знал. Он не производил впечатление человека, у которого вообще кто-нибудь был. Кроме гитары.

– Была. Исключительной красоты. Елена, но все звали её Аленой. Они жили в её квартире в переулке рядом с Тверской. Как он там назывался? Васильевский, что ли... Или Георгиевский? На стекле подъезда были цветные круги... минимум мебели... красный чайник со свистком и аппаратура Kenwood... телефоны там записывали прямо на обоях. Она вышила Миражу чехол для гитары мелкими цветами. Слушай, сколько у нас времени тогда было! Она потом тоже исчезла.

– Что за триллер ты рассказываешь, Роки!

– Ну, она исчезла не так вызывающе, как он. Её потом видели в Париже. Она работала официанткой у

«Максима». Или танцовщицей? Не помню. Но точно не певицей. Слуха у неё не было. Мы однажды записывали одну вещь с женским бэк-вокалом и, Мираж притащил её... Ничего не вышло. Она пела ещё хуже Йоко Оно...

– Подожди с женой. Куда делся Мираж?

– Мы сначала ждали его, недели две. Думали, вернется. У него и раньше случались заскоки. Один раз посреди концерта он ушел со сцены и во дворе ел снег. Стоял на четвереньках и ел. Остужал себя. Потом наводили справки. Никто ничего не знал. Я думаю, он прямо с гитарой отправился на Рижский вокзал, взял билет и уехал. Это вполне в его духе. Он тем летом что-то нес о Рижском взморье, о ночевках на пляже. Не знаю, как он там устроился в Риге в советских условиях, нужна же прописка, работа, то да сё... Может, у него там кто-то был.

– И не искали его?

– Я не искал. Другие тоже вряд ли. Это не принято у нас было – лезть в чужую жизнь. Считалось, если человек исчез, значит, он хочет, чтобы его оставили в покое. Как-то сразу стало ясно, что это конец. Ну, как тебе объяснить? Это такое чувство пустоты... Он посмотрел на свою руку, держащую рюмку. – Это как когда от тебя уходит женщина, и ты не бежишь за ней, потому что тебе вдруг понятно, что бежать не надо, нет смысла. Конец. The End, my only friend, the End. Ну, ты понял, – сказал он полувопросительно и полуутвердительно. – Говорю тебе, я уехал на дачу. Я от них устал уже к тому времени очень.

– Ты и тогда знал, что это конец? Сразу это знал?

– Ну да. Конечно. Был уверен. Это был самый настоящий, самый окончательный, самый безусловный конец. Я страшно переживал. Но от меня ничего не зависело. Я не мог воссоздать группу, не могу *заставить её быть*, я был только две палочки с барабаном – драм. Да и шло все к этому. Мираж перманентно находился в

состоянии полубреда – в нем уже ничего почти не оставалось. Все отдал. Весь высох, был тощий, даже потемнел, для души в теле уже места не было. Он мог быть нормальным только короткое время, когда импровизировал, это делало его живым. А так он был как debil, все время в депрессии. Почти не разговаривал. У него был сплошной даун. Маниакально-депрессивный психоз в постоянной депрессивной фазе. Это в Кашценке мне так объясняли. Мы же его навещали, дурака, когда он там лежал.

– И что?

– Врачиха там была, милая такая. Верила в силу медицины. О'Кей собирался переспать с ней. Считала, что таблетками можно поправить *все*. На её языке это называлось «корректировать поведение». С Миражом в конце у неё не очень выходило. Он не корректировался уже. Целыми днями сидел на кровати и глядел в окно. Она его тогда отпустила, не могла держать его дольше положенного. Велела за ним смотреть, говорила, что он склонен к суициду. Это так и было, подумавшись, новость открыла. «Удавиться», «повеситься», «наглоутаться», «крезанутаться», «застрелиться» – он все время бросал такие словечки. Скажет и замолчит, понимай как знаешь. То ли он вот сейчас выйдет в туалет и там повесится, то ли вернется на репетицию и дальше жить будет. Мы все уже были психованные. Однажды в паузу репетиции он вдруг сказал мне, что задыхается в метро в часы пик. Я очень удивился – раньше он не обнаруживал склонности к исповеди. Нет, я не удивился, я ужаснулся так, что пил три дня подряд. Вынести этого не мог. Плакал.

– Ты плакал?

– Плакал. Жалко его было. Я ж его любил. Ходил ночью по квартире, пил водяру и плакал, – Роки усмехнулся, в усмешке была горечь. – Хотел в морду дать им всем. За него. Представлял, как он стоит в

грохочущем метро, зажатый в угол их потными телами, и открывает рот, как рыба на берегу: он же был бледный длинноволосый урод, собиравший на себя все недружелюбие вагона. Его же ненавидели, стоило ему появиться на улице. Все поголовно. Он думал, что это внезапное удушье в метро – симптом начинающейся астмы, а астма есть предвестник близкой смерти, но я с ним не соглашался: нес что-то в ответ. Говорил, что его организм реагирует так на отсутствие воздуха в стране. Социальное удушье он воспринимал как физическое. Так я думал. Он слушал меня, улыбался – у него была такая улыбочка, он иронически кривил губы в улыбке, но с мрачными глазами, а потом ответил то ли серьезно, то ли дурачась: «Ну да, ты, пожалуй, прав, Роки! Это дело надо запить портвейнчиком, заесть седуксенчиком...» Это у него была такая присказка. И седуксен в кармане.... Всегда у него была початая упаковка. Он не просто глотал, он с понтом глотал.

– То есть?

– А так. С понтом. Ты что, не знаешь, как это, с понтом? Вытаскивал таблетку и с многозначительным мрачным видом отправлял в рот. Он не клал таблетки на язык, а забрасывал их в разинутый рот. Делал это с небрежным шиком человека, который умеет глотать огонь, стекло и гвозди. Совершал такое резкое движение, – Роки Ролл сделал резкое движение кистью, как будто подбрасывал вверх мячик, – и таблетка, описав пологую траекторию, исчезает во рту. Вслед затем брал бутылку портвейна и запивал, причем голову назад откидывал с гримасой страдания. Кривило его всего прямо-таки от нашего вкуснейшего портвейна! В паузах на репетициях мы ели огромные бутерброды, которые называли трелобитами, из одного батона за тринадцать копеек, разрезанного вдоль, выходило два таких трелобита, и пили вкруговую портвейн, и Мираж все это время глотал свои

маленькие розовые таблетки. *Он питался седуксеном.* Все это знали. Жрал их и жрал. В этом была безнадега какая-то. Мы об этом не говорили. Но было ясно, что все идет к концу. Ну сколько можно безвыходно сидеть в бетонном бункере без окон и делать звук мощностью в три атомных электростанции? Мы были узники замка Иф на Павелецком вокзале! – провозгласил он.

– Слушай, Роки, – сказал я ему. – У меня в голове прошлое двоится, и это, поверь, не от коньяка. Я всегда знал, что вы шизофреники, но все же я ожидал более внятного рассказа о распаде Final Melody. Я понимаю, почему вы там торчали, в этом бункере, но все-таки хочу спросить тебя: чего же вы там торчали, придурки вы такие?

– А куда было деться?

– Почему концертов не давали?

– Выйти-то было некуда. Вокруг было безвоздушное пространство, Советский Союз, ты что, забыл?

– Это не ответ. В том, что ты называешь безвоздушным пространством, какая-то жизнь существовала все-таки. Underground шумел.

– Какая жизнь, друг, ты очумел? – удивился он и он посмотрел на меня через стол, как на больного. – Все забыл?

– Шестидесятники там резвились со своими бульдозерными выставками, – сказал я. – «Машина Времени» играла. Что-то было все-таки. Подполье какое-то.

– Шестидесятники, ну да, их хлебом не корми, а только дай взяться за руки, чтоб не пропасть по одиночке... – рассеянно сказал он. – Что касается «Машины», то ты бы ещё про хор Пятницкого сказал. Он тоже пел. И тоже чушь.

– Хрен с хором, Роки. Ты не ответил.

– Ответа нет. Наверное, Мираж так понимал рок-н-ролл.

– Как он его понимал, скажи, я хочу знать! Я действительно очень хотел знать, как гитарист, резавший себе вены в приступах мазохизма, понимал рок. Он что-то знал о нем, что-то такое, чего не знал больше никто. Рок, рок, короткое слово, вмещающее в себя столько боли, столько крови, столько молодости, столько прошлого. Рок, шизофрения, гитарный напор, вкус портвейна, Гиллан, поющий Христа, Байрон, поющий *July Morning*, отчаяние, отчаяние.

– Не знаю. Мы об этом с ним никогда не говорили. Он его понимал в классическом стиле.

– То есть?

– Ну, как Мориссон, Джоплин, как Хэндрикс, как напавшийся алкоголик Томми Болин... кто там ещё есть из покойников? Покойники хорошо понимают рок. Как способ самоуничтожения. Иначе музыки не получалось. Да и вообще музыка тут не при чем. Тут что-то другое.

– Да, другое, – я понимал его. Он шел тем же путем, что и я: пытался понять, что это такое было с нами в те годы, когда мы дышали не воздухом, а звуком. Что за наваждение. Что за помешательство. Что-то такое, после чего вся последующая жизнь казалась пресной и скучной – даже если приходилось возить миллион долларов в чемодане. – Скажи, что.

– Это как боль, от которой человек кричит. Но крик – не болезнь. Так и музыка – она только крик, а болезнь называется по другому. Я вообще-то плохой философ.

– Запереться в бункере, глотать седуксен и играть музыку перед пустым залом – в этой картинке есть что-то завораживающее. Это и есть рок, да?

– Я не знаю, что такое рок, – сказал он, легко пожимая плечами. – Мираж, наверное, знал. Спроси у него.

– Ладно, спрошу. А Магишен? Он-то куда делся? Ты потом с ним виделся?

– Мы же не были группой, состоящей из друзей, – объяснил Роки. – Весь этот хиповый антураж – просветленные лица, умильные голоса, любовь к ближнему – все это не про нас. Мы делали вместе звук и пили вместе, но это не дружба, а что-то другое. Товарищи по суициду. Мы были по конструкции как атомная бомба – каждый сам по себе не опасен, но когда все вместе, сразу возникает критическая масса и начинается взрывная реакция... Магишен, он... как бы тебе сказать?

– Скажи просто.

– Он сука.

– Приехали! С чего это вдруг он сука?

– Я так считаю. У него всегда была *задняя мысль*. Он же постоянно бодался с Миражом, кто из них главный. Вредный парень. Он все время гнул свою линию, считал, что все знает лучше всех. Не только в смысле музыки, а в смысле жизни. Гуру. Потом отвалил и не изъявлял никакого желания общаться. Он мне не звонил, я ему тоже. Меня он в свои новые проекты не звал. Я думаю, он считал, что Мираж его сковывает и что в своих сольных проектах он добьется великого. Судя по всему, не добился, – сказал Роки Ролл с жестким удовлетворением. – Не знаю, куда он делся. Я ему не звонил с тех пор.

– А я думал, вы были друзья, – сказал я.

Роки подумал над моими словами некоторое время.

– Ты знаешь, – сказал он, – я тоже так думал. Но чем больше проходит времени, тем сильнее мне кажется, что Магишен был чем-то вроде демона-искусителя во всей этой истории. Звук группы создал он, идеологом был он, он нас во все это вовлек... Он же приехал ко мне на Войковскую и сказал, что создает группу. Сидел у меня на продавленном диване, диван я приволок с помойки, зад почти на полу, колени на уровне лица, делал пассы своими волосатыми руками и рисовал

картины будущего... Был тогда в белых джинсах и в синей баскетбольной майке. Он с самого начала видел всю затею целиком, как что-то законченное, что войдет в историю. Может быть, ему нужно было сумасшествие Миража, может, он его запланировал в своих тайных планах. Я не знаю. Магишен был создатель миров, а Мираж простой гениальный гитарист. О себе я вообще не говорю.

– Зачем?

– Что зачем?

– Зачем ему нужно было сумасшествие Миража?

– Говорю тебе, он единственный из нас видел проект целиком, ну, как Господь видит результат еще перед актом творения. Тогда так люди не думали, проектами, Магишен был новатор. Тогда, бывало, с утра нажрешься портвейна, вечером поиграешь на танцах в деревне Дубровка, где все кончится дикой махаловкой – вот тебе и весь проект. Это сейчас, начиная дело, садятся за стол и пишут бизнес-план, в котором сказано, что каждый будет иметь через пять лет: ты платиновый диск, он красный Феррари, я миллион баксов в офшоре... Я допускаю, что он с самого начала знал, чем дело кончится – и седуксен Миража входил в его планы. Он создавал Final Melody как группу, которой надлежит героически погибнуть, пойти на дно с поднятым флагом. Я уверен, он заранее знал, чем все кончится.

– Это ты серьезно?

– Говорю тебе, это я про него понял потом, а тогда я, конечно, ничего такого не думал. Ну раздражал он меня немного, вот и все. Так что можно сказать, что это версия.

– Тебя послушать – он его умышленно накачивал седуксеном. Врач-убийца?

– Да нет, конечно. Каждый саморазрушался на свой лад и по своей доброй воле. Я не то хотел сказать. Магишен точно понимал, что нам нужен герой. Ему это

было математически ясно. Он Миража *вычислил*. Фронтмен, всегда стоящий к публике спиной – скажи, в этом есть кайф!

– Есть. Конечно. Потрясный кайф. Как он это делал!

– Вот-вот. Это придумал Магишен. Сказал Миражу: встань к ним спиной и никогда не поворачивайся. Играй, даже если вокруг тебя рушатся стены! Этот парень все всегда знал, всезнайка был... Может, он и конец наш тоже вычислил...

Он снова разлил коньяк по рюмкам, и мы выпили. Бармен за стойкой перетер все бокалы и теперь стоял, просто глядя перед собой. Стойка и бармен были ярко освещены, а мы сидели на мягком диванчике в темноте, отчего казалось, что бармен – это актер на сцене, изображающий перед нами бармена. Я позавидовал его способности смотреть в пустоту. Он как будто заморозил себя, остановил в себе все жизненные процессы. Возможно, в такие моменты кровь в нем действительно замедляла бег, и процессы старения не шли. Мне захотелось подойти и помахать перед его глазами рукой, проверяя реакции.

– Ты знаешь, я встречался с Басом, – сказал я. – Он передает тебе привет.

– С Басом! – сказал Роки Ролл. – Бас... единственный нормальный человек в дурдоме под названием Final Melody. Скромный, тихий Бас. Что он делает?

– Торгует тетрадками с лотка у Павелецкого вокзала.

Роки сидел, глядя в коньяк, медленно крутил рюмку и ничего не говорил. Потом сказал:

– Печально. Я мог бы помочь ему с работой.

Он сказал это как-то тускло. Энтузиазма в нем не было. Он сказал это для меня – не хотел быть в моих глазах сукиным сыном, которому безразлична судьба старого фрэнда, с которым он играл в одной группе. Я это понял. Мы оба – и Роки Ролл, и я – все время делали

поправки на прошлое, все время думали о том, как бы не оказаться ничтожными на его фоне. Не знаю, как нам это удавалось.

– Роки, я хотел спросить тебя о записях.

– У меня ничего нет.

– А у кого-нибудь есть?

Он пожал плечами. – Черт его знает.

Он сказал это так, что я понял, что ему это безразлично. Что для него все это – сгорело, обратилось в пепел, рассеялось. Но я не хотел так просто сдаваться. Неужели эти обрывки воспоминаний, эти несвязные версии прошлого – все, что мы можем сказать друг другу о великой группе Final Melody, плавно, на моих глазах, перешедшей из бытия в небытие, из реальности в миф, из суеты сует в легенду?

– Значит, нету. А жаль... Послушай, я в субботу перебирал старые катушки – ну, знаешь, там Creedence, и Grand Funk, и даже Middle of the Road, и прочие дела – и вспоминал вашу музыку, и оказалось, что я её помню; во всяком случае, в голове у меня она зазвучала со страшной силой, так, как будто я не у себя дома, а на концерте в ДК «Энергомаш». Соло в первой вещи концерта, в *Прощай навеки*, ты помнишь? Оно отпечаталось у меня в мозгах отчетливо, как монетка в теплом воске...

– Я многое помню, – сказал он.

– Но не может же быть, чтобы все исчезло! – сказал я. – Ну хоть какие-нибудь записи остались?

Он посмотрел – на секунду его зрачки уперлись в меня. Я понял, что он хочет понять: «Зачем?». Чего ты пристал? Зачем будоражить тени и волновать покойников? Он производил впечатление очень спокойного, очень достойного, очень состоятельного человека, живущего размеренной и надежной жизнью – человека, у которого есть время и желание не стирать рубашки в стиральной машине, а отдавать посыльному

из прачечной, где крахмал придаёт манжетам такую приятную твердость. Я подумал, что темно-синий «Мерседес-420» с люком в крыше и с кремовыми сиденьями на стоянке у входа – наверное, его.

– Не знаю, – сказал он. – Официальная историография утверждает, что никаких записей Final Melody в природе не существует. Во-первых, потому, что их и не было, а во-вторых, потому, что их сжег психопат Мираж. Такая версия есть тоже... А тебе зачем? Ты решил издать?

Ответа на такой вопрос не требовалось. Мы помолчали.

– Ты знаешь, – задумчиво сказал он, закуривая очередную сигарету, – кое-что, я думаю, все-таки осталось.

Я ждал продолжения.

– Во-первых, немцы с Десса писали что-то во время наших репетиций. Они арендовали тут пульт, привозили микшер и хорошие микрофоны. Может быть, эти пленки до сих пор запряты в их архивах, хотя я лично сомневаюсь... Скорее всего, написали поверх нас каких-нибудь Boneу М... Во-вторых, там, в бункере, мы однажды дали концерт по полной программе для узкого круга лиц. Это был январь, конец января, да, день рождения Лили. Это подружка у меня такая была, может быть, ты её помнишь, – губы его подобрались, у него была жесткая улыбка. – Должен же где-то быть. Я бы у неё спросил.

– А где её искать?

Он пожал плечами. В какие-то моменты разговора в нем вдруг появлялись сдержанность и сухость, ему раньше не свойственные. Он восстанавливал дистанцию, на которой привык находиться с людьми – и как будто не хотел тратить слова там, где вопрос был риторическим, а ответ очевидным.

Он проводил меня по лестнице до самых дверей и даже вышел со мной на улицу. Охранники в черных майках при его появлении подтянулись и сменили расслабленные позы на стойку смирно. Он прошел между них, их не видя. С черного неба сыпался частый мелкий дождик, мокрый асфальт блестел серебром. Мы стояли под дождем в холодном свете неона. Осень в этом году была сверх меры дождливая. А впереди, в трех месяцах, уже маячил Миллениум – загадочный праздник, в котором человечество уже сейчас предчувствовало что-то прекрасное и таинственное. Взлетят в небо фейерверки, ударят часы, по ночной заснеженной Москве, гудя клаксонами, помчатся машины с включенными фарами, рубль обесценится, доллар рухнет, выйдут из строя компьютеры, пораженные ошибкой-2000, и все мы вдруг окажемся там, откуда нас исторгли злые и безликие силы – в нашей давно ушедшей рок-н-рольной молодости....

– Ты где припарковался?

– А вон, – я кивнул в сторону моей красной красавицы.

– Пойдем, я тебя провожу. В руке у него откуда-то очутился зонт, он нажал кнопку, и черный купол мягко и бесшумно раскрылся над моей головой. Он снова был спокойным, вежливым джентльменом – Роки, которого теперь надлежало называть господин Парамонов. Я улыбнулся этой нелепой мысли.

– Зайдешь ещё? У меня тут хорошие концерты бывают.

– Зайду обязательно. Клуб-то твой, Роки?

– Два владельца, я один из них.

– Единственный твой бизнес?

– Я из всех моих бизнесов ушел год назад. Хватит. Вложил кое-какие деньги в Дыру и наслаждаюсь теперь. Всегда мечтал быть хозяином рок-клуба.

– А чем занимался? – я стоял, положив руку на открытую дверь, и все задавал вопросы, как будто в чужой жизни надеялся найти ответы, которые пригодятся мне в моей.

– Я же институт нефти и газа закончил. Надо же было после Final Melody чем-то заниматься. Вот нефтью немножко и позанимался в последние годы. Я три года в Сургуте жил.

– Сам здесь ведешь дела?

– Нет, зачем. Менеджеры есть. А я приезжаю и смотрю, как оно у них получается. Сижу, пью коньяк, слушаю музыку. Все дела. У тебя ведь тоже все в порядке? – улыбнулся он.

– В полном, – сказал я, и это была правда.

Мы пожали друг другу руки, и я захлопнул дверцу.

Чайная церемония происходила в задней комнате чайного магазина в Кривоколенном переулке, в желтом отреставрированном особнячке с белой лепниной на потолке. По периметру стен здесь были выставлены банки с редкими сортами китайского чая – от двадцати долларов за сто грамм и выше – и расписанные драконами чайные сервизы на стеклянных полках. На церемонию я не пошел. Мне предложили подождать. Я ждал мастера чайных церемоний в комнате с темно-красными обоями и окном, выходящим в маленький сад. На подоконнике – коричневая вазочка с веткой. На ветке был один лист – подвядший, ломкий, с сухими краями. Казалось, дизайнер-минималист специально сохранял этот лист, наслаждаясь его медленным увяданием. Я не услышал, а почувствовал по колебанию воздуха в маленькой комнате, что дверь за моей спиной открылась – и обернулся.

– Ну, теперь здравствуй, – сказал Магишен, протягивая мне руку. – Старый друг. Сколько лет мы не виделись?

Он был высок – почему-то выше, чем я ожидал, – и немного сутулился. Рука у него не проминалась в рукопожатии, как будто была выточена из прохладного камня. Я подумал, не занимается ли он карате.

Магишен был в черной рубашке с узким воротничком и в черных брюках со складкой. Его огромные модные туфли с острыми мысками сияли. В своей черной одежде он был похож на протестантского пастора. Он был коротко пострижен, к чему я никак не мог привыкнуть: я не ожидал увидеть его таким. Это был высокий человек с худым лицом, серыми внимательными глазами и большими ушами, которые

составляли заметную деталь в его облике. Он снял куртку с вешалки в углу и, чуть наклонив голову и глядя мне в глаза, спросил: «Куда мы?».

Я никак не мог понять, он ли это. Он ли это, органист из Final Melody, который двадцать лет назад сомнамбулически бродил по сцене в белом балахоне, или тот Магишен давно исчез, а передо мной стоял кто-то абсолютно другой, кого я не знаю – таинственный незнакомец в облике чайного мастера и протестантского пастора? В чем-то он стал совершенно другим. Лицо его на сцене всегда было спрятано за спадающими волосами непонятного тусклого цвета: светло-серыми? блекло-белыми? Он всегда был как будто внутри себя, и чтобы поговорить с ним, мало было к нему обратиться – надо было вызвать его из его глубины, кликнуть: «Магишен, ау!» Тогда он делал легкое, едва заметное движение головой, что означало, что сигнал принят, прихватывал рукой длинные волосы, скрывавшие лицо, чуть отводил их в стороны, как крылья занавеса, выглядывал глазом и носом: «Ask! Ну, что ты хочешь?»

Теперь он *открылся*. Это было все то же грубоватое, с тяжелой нижней челюстью, лицо, которое, однако, теперь было освобождено от волос, гладко выбрито и оттого казалось голым. Узкий нос казался чересчур длинным. Короткий «ежик» был слегка седым. Уши были неприлично-массивными. Руки у него тоже были чересчур длинными, это были руки баскетболиста – я знал, что когда-то, ещё до Final Melody, еще не будучи Магишеном, он вполне серьезно играл в баскетбол и даже дошел до юношеской команды ЦСКА. Когда мы шли по улице, руки у него свободно покачивались, в своем собственном ритме, как будто несвязанные с телом.

Мы шли по Мясницкой в сторону Лубянки. Машины на проезжей части то стояли, то медленно ползли

вперед – начинался час «пробок». В стеклянном, наполненном золотистом светом салоне модной одежды манекены были неотличимы от продавцов. Мы шли бок о бок по вечернему городу – молча, не начиная разговор, приберегая начало до того момента, когда сядем и спокойно взглянем друг другу в глаза – и вдруг у меня возникло странное и отчего-то приятное ощущение, что мы с ним уже давно тени. Две девушки в коротких юбках, смеясь, быстрым шагом прошли мимо нас – я наслаждался видом их крепких загорелых ног бескорыстно, как будто уже покинул область земных желаний. Действительность пролетала мимо нас по касательной, скользила мимо легко и невесомо, не задевая и не тревожа. Голова Магишена возвышалась чуть выше толпы – он шел с отсутствующим видом, как будто все происходящее на улице не имеет к нему никакого отношения. Он напоминал мне – не столько ростом, сколько выражением лица – жирафа, которого я когда-то видел в зоопарке. Жираф стоял за оградой, отрешенно смотрел в какую-то одному ему понятную даль и не замечал толпившихся внизу людей.

В Магишене времен Final Melody не было байронического начала, которое было столь сильно развито в Мираже, но зато он был человек язвительный, практичный и честолюбивый. «Чего ты бьешь там по кастрюлям-то...», – тоскливо, в полголоса, со скрытой издевкой тянул он на репетициях Роки Роллу, а чувствительному Миражу говорил просто и грубо: «Ты достал меня своими соляками, мудила!» Мираж прямо с репетиции вываливался в какие-то темные глубины, где-то пропадал, возможно, спал на Казанском вокзале, а возможно, проводил дни в Киевском пивном зале – кто знает? А Магишен все время был *здесь*, в *этом* мире – и в метро он не задыхался. Когда он стягивал свои длинные волосы назад, в хвост, становилось видно его энергичное лицо, с ясными прозрачными глазами,

крепко вылепленными подглазьями, плотно сжатыми губами, тяжелым рубленным подбородком. На репетициях в спорах с Миражом он не уступал ни пяди – в нем не было милосердия, которое побудило бы его хотя б и ложно согласиться с этим страдающим астеником. Роки Ролл был прав: он всегда гнул своё.

На концерты он надевал грязно-белый, не знавший стирки балахон, скрывавший его фигуру и делавший его в глазах зрителей бесплотным привидением, прилетевшим в наш мир сыграть джигу и Баха на органе, но на репетиции приходил в свитере и в джинсах – и при первом же взгляде на него становилось видно, что этот человек вполне реальный. У него были широкие кисти рук, что свидетельствует о силе. Грудь под свитером широкая, плечи широкие, грязноватые коричневые туфли сорок какого-то немаленького размера. Он не мог, как бестелесный Мираж, парить над землей и взлетать к потолку, он ступал на всю подошву своих больших грязных туфель с закругленными мысками, ступал – и на каждом шагу то одно его плечо, то другое чуть выдвигалось вперед, а ноги чуть косолапили. Длинные обезьяньи руки с волосатой кистью покачивались, болтаясь вдоль тела. Как ни странно, в этом урожденном москвиче, жившем в коммуналке на Страстном бульваре, в доме за церковью Иоанна Богослова, в его длинных руках и походочке, было что-то моряцкое.

Звук группы был во многом его созданием – Магишен всегда был способен сообразить, что вот сюда надо, как перца, подсыпать страсти, сюда впаять соло, сюда добавить квакушку или ревербератор... Мираж слышал иные сферы – через его расстроенную (или, наоборот, настроенную) психику и мощную гитару в этот мир приходили небесные гармонии. Мираж был – готовый пациент для Strawberry Fields. Магишен с иными мирами не общался, но зато очень хорошо и тесно

общался со своими клавишными. За спиной у него было два курса консерватории. На репетициях его заносило в органные импровизации в стиле *Funeral for a friend* Элтона Джона, на концертах его клавиши вступали в перебранку с гитарой Миража. Гитара в ответ впадала в отчаяние и истерику. Но надо отдать Магишену должное – он мыслил шире своих клавишных, он слышал звук группы целиком, в его совокупности. Он добивался плотности. Он не выносил вялого звука, пустот в конструкциях. Модных тогда Pink Floyd он терпеть не мог – они были, на его вкус, слишком мягкими. Он находил в *Wish You Were Here* и в *Dark Side of The Moon* слащавые красоты, которые он бы безжалостно вымарал. И я помню, как на одном из сейшенов, в момент, когда звучал *Dark Side of The Moon*, лицо его скривилось в болезненном и печальном ощущении, нижняя губа выпятилась, широкие плечи перекосились, ладони сцепились у груди и мяли одна другую. «Господи, ну плотнее же!», – взмолился он, напряженно глядя в мерцающий зеленым подводным светом глазок магнитофона. Но они не подчинились, и он, слушавший это в сотый раз, знал, что они не подчинятся. И все-таки разозлился. «Лажя, господи! Лажя, ты понял! Чувак, плотнее нужно!», – раздраженно посоветовал он Гилмору.

«У дяди Сэма», как известно, шведский стол: 49 блюд за триста рублей. Так гласит реклама, висящая в начале Мясницкой. Мы зашли в эту цитадель американизма, сияющую в мокром вечернем воздухе красными и фиолетовыми огнями. Выбор Магишена был прост: он не брал ни мяса, ни рыбы, зато овощи накладывал на тарелку в больших количествах: дольки сочащихся красным соком помидоров, пупырчатые зеленые огурчики, масляно-желтые зерна кукурузы, беловатые пучки спаржи. Я понял, что он вегетарианец.

Мы сели, и мгновение он сидел молча, строго глядя мне в глаза, положив руки на стол ладонями вниз. Я совсем не знал нынешнего Магишена и ничего не мог сказать о нем определенного, но тут мне показалось, что он что-то произносит про себя: молитву Господу, за то, что тот дал ему сегодня вечером такую обильную пищу? мантру, способствующую правильному обмену веществ? Это была только секунда, не более – и вот он уже отвечал на мой вопрос.

Я отчего-то чувствовал себя вправе спрашивать. Я не мог бы сказать, в чем именно это право, не мог бы определить его в точных понятиях. Может быть, я расспрашивал Роки Ролла и Магишена на правах старого друга и давнего почитателя Final Melody, а может быть, они чувствовали во мне товарища по кораблекрушению, одного из посвященных, который ещё помнил подробности давних великих плаваний по московским психоделическим морям. Мне казалось, что Магишен, так же, как Роки Ролл, воспринял моё явление и мои вопросы без удивления – я думаю, в нем тоже все эти долгие годы жила вера в то, что случившиеся с ним не может бесследно раствориться во времени. Куда-то

же деваются наши поступки, в чем-то отпечатываются наши буйства? То, что было в прошлом – редкие концерты, на которых безумие музыкантов перекидывалось в зал, долгие джем-сейшены в бункере без окон, тонны и мили раскаленной, как лава, музыки, сыгранной в пустоту – все это продолжало существовать в невидимых обычному глазу, незримых для профанов мирах. *Но где эти миры?*

– Мы тащились оттого, что делаем рок-н-ролл, – Магишен говорил медленно и спокойно, почти без эмоций. Он повествовал о своем прошлом отрешенно, в духе Тацита. Как будто это было не его прошлое, а прошлое *вообще*. Описывал плавно и подробно. – Понимаешь, люди ходили на работу, получали зарплату, жарили котлеты на ужин, дохли от скуки на политинформациях, а мы были свободны от всего этого чучхе – мы делали рок-н-ролл! Я был горд этим безмерно. После консерватории, с её чинным музицированием, с её приглушенными голосами в коридорах, я просто с цепи сорвался – отпустил хайр ужасной длины и по утрам на пустой желудок выкуривал кубинскую сигару. Это на весь день давало мне остроту восприятия. Я балдел от ста децибел, которые мы выдавали, от воя гитары и грохота ударных. Роки, когда входил в раж, колотил со страшной силой, куда там твоим отбойным молоткам! Я так ненавидел тогда звук правильного, хорошо настроенного фоно, что на концертах превращал орган в расстроенное пианино и на нем шпарил безумную мешанину, то это был *twist and shout*, то танго в стиле Астора Пиацоллы, а то многозначительные размышления в стиле Баха. Мне это дико нравилось. Где-то в глубине души я знал, что все это карикатура на серьезную музыку, которую мне прививали с восьми лет и которую я проклял в четырнадцать. И ещё: моих способностей и знаний хватало, чтобы из всего этого хлама сконструировать

звук, так, чтобы это были не просто завывания вандалов, крушащих телефонную будку, а музыкальные пьески с началом, серединой и концом...

Я совершенно серьезно считал себя главной частью передового музыкального процесса. Авангардом рока в сражении с силами зла. Злом было все остальное человечество – оно жило неправильно. Мы так считали. До нас доходили слухи то о концерте Харрисона в пользу Бангла Деш, то о концерте Леннона в Нью-Йорк Сити, где Йоко пела *Women Is The Nigger Of The World*. Не то чтобы мы были политически активными, как раз наоборот, но дело в том, что каким-то хитрым образом политическая активность *там* имела эквивалентом политическую пассивность *тут*. Это было одно и то же. Они там давали концерты в пользу Бангла Деш, а мы тут отвечали им уходом в бункер без окон на Павелецкой. И при этом считали, что мы одно: rock generation, beautiful people... Они *там* были нашей средой, хотя мы были *здесь*. Вот как.

Сейчас все твердят о виртуальном мире, но нынешний виртуальный мир, все эти www и точка. ru – жалкая пародия на тот, в котором мы жили. Нам ни компьютер не нужен был, ни Интернет – ничего. Мы были виртуалы первого класса, почище любого индийского йога. Выкуришь сигару с утра, выпьешь стаканчик портвейна и перенесешься куда надо безо всякого модема. Я по ночам слушал Velvet Underground и, обращаясь к магнитофону, вел долгие разговоры с Энди Уорхолом о новой эстетике человеческих отношений. Пейдж для нас был свой чувак, он играл где-то за углом, его пьянки и дебоши в номерах отелей происходили рядом с нами, ну, а мы чем хуже? – Магишен отправил ложку салата в рот, его крепкие челюсти заработали. – Мы сидели в жопе, то есть в столице самого унылого, самого затхлого царства, какое только могло быть, – и чувствовали себя творцами

истории. У нас было странное ощущение, что все, что мы делаем, и все, что мы играем, и даже все, что мы говорим друг другу, все эти наши хохмы и приколы, все это имеет какую-то великую ценность, как будто по нашим стопам крадется Гай Юлий Цезарь и усердно вносит нас в свои записки о Галльской войне. Да, мы с самого начала чувствовали себя персонажами истории, а чем это объяснить, я не знаю. Причины, отчего четверо обросших, переполненных портвейном, помешавшихся на звуке людей вдруг возомнили себя солью мира, этой причины, ты должен это понять, её нет.

Мираж говорил, что он самый великий гитарист мира, он с этим ощущением начинал, а потом оно только увеличивалось в нем. В конце, осенью 1981, он уже просто шел на взлет от таблеток – и ощущения, что на гитаре может лучше всех. Лучше Клэптона, лучше Блэкмора, лучше Харрисона... Он был задвинут на гитарных соло, он был король запилов. К нему подойдешь в туалете, он стоит у писсуара, но одновременно пританцовывает и поет соло из *HighwayStar*. Идет по улице – двигает локтями, вихляет бедрами, дергает головой и поет соло из *StairwaytoHeaven*. Не удивительно, что прохожие считали его сумасшедшим и норовили вызвать по телефону психовозку. Я ему не уступал, я себя считал гениальным клавишником, – тень ироничной улыбки проскользила по его длинному лицу. – Запилы его гитарные я считал банальностью, подумаешь – запилы! – а вот собственные органые пассажи ценил очень высоко. Я вставлял их в каждую вещь, и мы с ним ругались из-за этого. Я снижал его гитарную патетику моей органной иронией... Кстати, и Роки Ролл, при всем своем добродушии, тоже был парень себе на уме. Он считал себя самым великим ударником в мире. Ты знаешь, что он делал до того, как попал в Final Melody?

– Что он делал?

– Он в своей комнате в восемь квадратных метров на Войковской ждал своего часа, а пока что репетировал в одиночку. Вот так. В комнате стояла большая ударная установка, даже для кровати места не было. На ночь он раскатывал матрасик такой, в бело-голубую полоску. Он врубал магнитофон – у него была «Комета», бандура килограммов на тридцать, он ей очень гордился – и играл вместе с Deep Purple, играл вместе с Led Zeppelin, играл вместе с Black Sabbath... Роки Ролл был в то время лучший запасной барабанщик англо-американского рока. Соседи ему устраивали скандалы, ломились в дверь, орали, чтобы он прекратил издеваться, а он им тогда переставал чистить лед на тротуарах, и они падали и разбивали коленки. И носы, – бывший органист вновь улыбнулся слабой, рассеянной улыбкой, но уши его оставались непроницаемо-серьезными. Это была самая величественная, самая многозначительная часть его облика. – Как-то у него с ними в итоге пришло к компромиссу: четыре часа в день он имел право барабанить и за это исполнял свои дворницкие обязанности исправно. Я приходил к нему с новыми дисками и видел, что он стоит на тротуаре в одной рубашке – у него была для этих молодеческих забав старая красная ковбойка – и ломом долбит лед, и от него идет пар. Геракл в байковой ковбойке и с ломом.

Я к нему приезжал туда с целыми сумками дисков, и мы слушали с ним все подряд, все, что я умудрялся купить и выменять на черном рынке на Страстном бульваре, все, начиная от Mamas and Papas и кончая King Crimson. Мы были всеядны. Мы пожирали музыку галлонами и тоннами. У него была вертушка «Аккорд», гробик с железной иглой, которая на пятом проигрывании уничтожала диск, и я водружал на него пластинку и нажимал кнопку и крутил большую

круглую ручку. Это всегда был мистический момент – рождение звука. Роки завешивал единственное окно своей комнаты одеялом. Если он этого не делал, рано или поздно в окне появлялась харя алкоголика и просила стакан. Мы сидим с Роки на полу, спинами прислонившись к стене, между ногами у каждого стоит по бутылке, и вот его конурку наполняет оглушительное шипение иглы, оно длится и длится, пластинка крутится, покачиваясь на резиновом диске, а потом вдруг следует первый аккорд, громогласный и прекрасный... Мы врубали гробик на полную мощность. Мы тогда считали, что музыку – любую музыку, не только рок, а скажем, и ноктюрны Шопена тоже – надо слушать на максимальном звуке, тогда в ней открываются вещи, которые иначе не слышны. Плюс к этому, конечно, физическое воздействие звука, это тоже важно. В особо эффектные моменты мы, не сговариваясь, переглядывались и чокались бутылками. Мы слушали так дни и ночи напролет, пока диски не кончались. Иногда уходили на кухню, ели там жареную колбасу с хлебом и снова слушали. Жратвы у него почти никогда не было, колбаса была иногда, молоко было, когда все кончалось, мы курили и укладывали пепел на черный хлеб, выходил вкус яичницы. В конце концов выползали во двор, оглохшие, небритые, с красными глазами, дышащие перегаром – и вдруг видим, а там вечер уже. А мы считали, что утро... Тогда мы собирали пустые бутылки, шли их сдавать, на вырученные деньги опять покупали яиц, хлеба и молока и делали себе завтрак. Вот там, в этой дворницкой конурке, я ему один раз и сказал: «Слушай, Роки, давай сделаем группу! Сколько тебе стучать тут с Black Sabbath, сколько быть подпевалой чужого величия? Давай сделаем *своё!*» Знаешь, что он ответил?

– Что?

– А как группа будет называться? Это было тогда самое главное!

– А ты?

– Я уже знал, как она будет называться. Я уже придумал это великое название. Он сказал: «Ага, давай, начали, Final Melody, клево сказано. Роковая мелодия, с возможностью поставить ударение на любое о. Только гитарист нам нужен». А я к тому времени уже знал этого гитариста, который нам нужен...

Мираж играл тогда в безымянной группе в доме культуры работников швейной промышленности. На его языке это называлось: «Играть в Текстиле». Я туда попал случайно, забрел как-то с какими-то френдами на сейшен. И услышал его. Он стоял сбоку сцены, под листьями огромного фикуса, который рос в кадке, скромно так стоял со своим удивительным Стратокастером, на переднем плане у них был толстый, дюжий паренек, фронтмен их – он один в один делал *ChildinTime* и прямо-таки светился гордостью от этого. Весь понт был именно в том, чтобы сделать Deer Purple один в один, тогда это считалось высшим писком. Но гитарист им все портил, он из своего угла, из-под фикуса, вдруг ни с того ни с сего запуская длинные и ни к чему не относящиеся соляки, и было件нятно, что он вообще их вряд ли слушает и едва ли знает, какую вещь сейчас играет эта собранная с миру по нитке команда. Я там с ним познакомился. Подошел к сцене и сказал ему: Ау, френд, ну, ты даешь! Какое соло! Ты играешь почище Ричи! А он мне в ответ: А ничего удивительного, Ричи мой ученик, он у меня учился... Я ему говорю: Подожди, постой. Как у тебя? Он же Лондонскую консерваторию закончил? – Ага, консерваторию, как же. Лажа это, слухи! Говорю тебе, у меня он учился. – А Клэптон тоже у тебя учился? – Не, Клэптон не у меня. Спокойно так сказал, и было видно, что он не шутит, даже особенного понта в этом не было.

В этом был весь Мираж. Он верил в самые невозможные вещи, он их придумывал и потом верил в них. Для него не было разницы, где происходит событие – в реальности или у него в мозгу. В этом смысле он был как ребенок. Он мог прийти на репетицию и битый час рассказывать какую-то ерунду, о том, как он куда-то пошел, и там ему встретился крутой мэн и две клевые герлы, и они спросили у него, поедет ли он с ними, а он ответил, что поедет, и они сели в автобус, и вторая герла, та, что в джинсах с вышитым на колене цветочком, целовалась с ним, а потом они сошли и там было такое кафе, с такими столиками, и за столиками сидели мужики в шляпах и расшитых рубашках и пили пиво Miller... Тут у слушателя начинали возникать подозрения, потому что в ту пору и Жигулевское-то не всегда в ларьке найдешь, и он спрашивал: Мираж, слушай, а где все это было? – В Нэшвилле. – А, ну понятно тогда, если в Нэшвилле. Давай репетировать! Потом, в конце, он уже не был склонен к длинным рассказам, да и мерещились ему, видимо, уже другие вещи, такие, которые пересказать трудно.

Мы начали репетировать втроем, а О'Кей появился чуть позже. Без баса было нельзя, нам тяжести не хватало в звуке. Но его не я привел, а Роки. Откуда-то он его знал. У Роки были самые странные знакомства. И многочисленные. Он был ужасно общительный, у него были знакомые продавщицы, которые отпускали ему портвейн в долг, знакомые таксисты, которые его бесплатно возили к его подругам, а ещё он знал одного шофера, который возил замминистра. Они бухали с шофером на детской площадке на Тверском бульваре, и шофер рассказывал ему, как идут дела в советской экономике. Это он знал от своего министра. Поэтому в разговорах Роки иногда проявлял удивительную для такого балбеса осведомленность о положении дел в черной металлургии и нефтедобыче... Однажды Роки

привел на репетицию тщедушного мужичка в кепке, и оказалось, что мужичок вор в законе, отсидевший из сорока двух лет своей жизни двадцать три. Наша музыка мужичку понравилась, он сказал, что ничего подобного никогда не слышал, выпил с нами портвейна с колбаской и пообещал, что если кому-то из нас случится попасть на зону, то он всегда будет рад встретиться. Он собирался сесть в очередной раз, за день до этого, что ли, захотел ночью курить, не нашел в кармане сигарет и гробанул табачный ларек. В конце вечера он был уже совсем пьяный и требовал, чтобы мы уважительно относились к его кожаным перчаткам. Но это я так, к слову.

Сначала мы репетировали в актовом зале школы на Соколе, но потом нас оттуда выгнали, потому что мы своим внешним видом плохо действовали на учащихся, и мы перебрались в красный уголок фабрики «Дукат». Это уже О'Кей организовал. Красный уголок был под землей, это было бомбоубежище с трехметровыми бетонными стенами. Очень хорошее место – никому мы там не мешали, и никто нас там не трогал, кроме ответственного за гражданскую оборону, отставного майора, который приходил нас проверять и которому мы выставляли выпивку, а он нам тогда рассказывал, как в сорок втором на фронте спасся от мины только потому, что поверх ушанки всегда носил каску. Остальные не носили касок поверх ушанок, это неудобно, и их убило. А его только ранило. Это я тоже так, к слову, о пользе ношения касок поверх ушанок. Мы там порепетировали пару месяцев и решили дать концерт. Идею квартирников мы сразу отвергли – в акустике мы не играли, чтобы продемонстрировать себя во всей красе, нам нужен был полноценный электрический звук. И стали искать, напрягли френдов и в конце концов нашли – открытая эстрада-ракушка в поселке Красноармейском, огороженная сеткой

площадка, наряд милиции, местные уркаганы со своими подругами. Хлопцы все были с широкими армейскими ремнями с тяжелыми пряжками, они утежеляли пряжки, припаивая к ним с внутренней стороны куски свинца – ясно зачем. Мы привезли аппаратуру на двух такси и сами таскали её на сцену. Потом настраивались полчаса, публика начала закипать, и мы тогда врубили тяжелую психоделию ватт на сто. Там такие танцы начались...

У нас на концертах – а мы их дали немного, всего ничего, мы халтурой не занимались и за деньгами не гнались никогда – всегда был дурдом, и это не метафора, а факт. Мы были самая ненормальная группа в мире. Seriously, к нам много раз подходили люди и говорили, что они на наших концертах сходили с ума, – Магишен взглянул мне в глаза. Это у него была привычка такая: раз от разу смотреть собеседнику в глаза, как будто проверяя реакцию и устанавливая контакт. Я ответил ему серьезным взглядом, который сигнализировал: говори, я здесь. – Испытывали самое настоящее умопомешательство. Я им верю. Там было, с чего сойти с ума. Я сам иногда слетал с катушек полностью, а я, вообще-то, уравновешенный человек. Он подтвердил это, тщательно набирая в ложку зерна кукурузы. – Например, мы играли *Пикник на обочине*, вещь минут на восемь, там шестнадцать раз подряд повторяется одна музыкальная фраза, как в *Болеро* Равеля или как у Uriah Heep в *July Morning*, повторяется неустанно, с нарастающим давлением на мозги. Тяжелая мрачная тема, однообразный бас, внезапный орган – и из басовой тьмы и органных размышлений то и дело молнией вырывалась гитара Миража. Этот учитель Блэкмора играл очень быстро, со страшной скоростью. К концу, к седьмой минуте, он уже сам от своих соло доходил до такого экстаза, что начинал дергаться, как будто это не гитара, а он подключен к розетке, у него

глазах выступали слезы, на лбу пот, нижнюю губу он прикусывал, как от боли, а кистью правой руки делал такие медленные вращательные движения... Гитара впадала в истерику – выла, пела, царапалась, стонала, рыдала... Он медиатором вытворял ужасные вещи, орудовал им, как бритвой. Чуть ли не калечил её, бедную. Садист был.

– Ходили слухи, что он был не в себе. В клиническом смысле. В Кащенко лежал...

– Возможно, – он спокойно пожал плечами. – Какая разница? Мы тогда все были не в себе. Люди, которые в себе, такую музыку не играют.

– Блюз, – сказал Магишен некоторое время спустя, посасывая дольку помидора, с нарастающим туманом в глазах. – Да, блюз, по названию *Огонь желаний*, тягучий, медленный блюз, им гордились бы черные в Алабаме. Старые негры с седой щетиной на дряблой коже им бы гордились, уверяю тебя, ей Богу, это так... Под этот блюз в зале всегда происходило черте что, мы знали – как только заиграем его, так в зале сразу начнут раздеваться. Эту вещь можно было крутить депрессивным шведам для увеличения рождаемости... Это был уже другой концерт, в ДК МАИ. Я стоял за органом и глазел на дебош – у меняхватило ума не лезть в бордель со своим Бахом – и чувствовал, что мы поднимаемся ввысь, что мы high, что мы всемогущи как боги и Джанис Джоплин... Это потрясающее чувство. Мы играли этот блюз в тот раз, наверное, минут двадцать, и за это время в зале уже дошли до экстаза, до надутых в виде воздушных шариков презервативов, до распущенных волос и поцелуев в засос по углам. Секс и рок-н-ролл тут были полной мерой, а drugs, конечно, отсутствовали, хотя я предполагаю, что несколько гекалитров портвейна ребятами было выпито на подходах к ДК. Я видел со сцены, сверху, как они приникают друг к другу и не могут оторваться, видел эти одуряющие, глубокие, сумасшедшие поцелуи, когда в груди вдруг иссякает воздух, и в мозгу меркнет свет, но оторваться невозможно все равно, и остается идти на дно. Там начиналось что-то вроде оргии, я думаю. Мы успели сыграть всего две вещи и ими довели пипл до экстаза. Если бы нам дали сыграть третью вещь, то начался бы секс по полной программе, оральный, анальный, какой там ещё бывает... Но нам сыграть не

дали, вырубили электричество. Я знал, что так будет, и все остальные тоже знали, и поэтому мы никогда не раскачивались и с самого начала врубались по полной. Нам вечно что-то выключали, менты выбегали на сцену и крутили мне руки за спину, дружинники нападали на Роки и отнимали у него его шляпу, администрация возникала с претензиями...

Это был в тот вечер у авиаторов очень большой кайф, просто *полный улет*, – сказал он с откровенной иронией, возвращаясь к самому себе, каким был теперь. – Девушки у сцены снимали блузки, крутили их над головами, танцевали в лифчиках. Жалко, что никто этого не снимал, был бы клевый фильм. Они тянули руки к Миражу, молили его снизойти, повернуться к ним, показать личико, а он неумолимо стоял к ним спиной. Он был непробиваем. Он говорил, что когда он играет, у него за спиной вырастает стена в три метра высотой. Он был король. Правда, когда на сцене началась потасовка с дружинниками, он спрятался под пианино. Роки любил помахать, а Мираж совсем не любил. Физический контакт с людьми вызывал у него отвращение. Там на краю сцены стояло пианино, я на него посматривал и подумывал, не раскурочить ли мне его, в память о моих долгих страданиях на уроках сольфеджио. Вскочить на крышку, станцевать джигу... Мираж забрался под него и сидел там в обнимку с гитарой и со страдальчески закрытыми глазами. Роки потом его оттуда достал и вывел из зала.

– Это ты придумал, что он должен всегда стоять спиной к публике?

– Да что ты! – удивился он. – Как такое можно вообще придумать? Конечно, он нашел эту позу сам. Ему так было удобнее. Он же был интраверт...

– А ты? Ты ведь тоже укрывался от публики – я имею в виду твой балахон, твой хайр, закрывавший лицо... – напомнил я ему.

– У меня это был прикид, – сказал он. – Я в балахоне по жизни не ходил. Я все-таки разделял жизнь и сцену. Я считал, что даже самой безумной группе необходим менеджмент. Все концерты устраивал я. Пытался это делать. Записи на Десс'у передал ведь тоже я. Ты знаешь, что у нас был контракт на Десса?

– Знаю.

– У меня знакомые иностранцы были. Я подключал западную прессу, напряг одного чувачка из Stern'a... Во мне погиб продюсер, – он усмехнулся. – Если подумать, то нам не хватило совсем чуть-чуть. Самую малость здравого смысла в голове Миража, парочки здоровых нейронов в его правом полушарии. Ну, продержись он ещё полгода, и у нас бы вышло.

– Диск бы вышел на Западе?

– Ну да, и мы перепрыгнули бы в другую реальность.

– Уехали бы?

– Да нет, конечно, ты не так понял. Таких мыслей даже не было. Но *vitatuova* изменила бы все. Произошел бы скачок энергий, прорыв из одной реальности в другую. Наш виртуальный мир сразу обрел бы реальность общепризнанного бытия, а бункер на Павелецкой стал бы центром мира, посылающим новые импульсы. Ты понимаешь?

– Да.

– Этого не случилось. Да, не случилось. Может быть, к счастью.

– Причем здесь счастье?

– Не знаю. Возможно, подобный прорыв из мира в мир был бы слишком опасен для мироздания. Нельзя чересчур напрягать ткань бытия. Нужна мягкость, последовательность, плавность переходов... Впрочем, это я знаю теперь, тогда я так не думал... Что касается меня лично, то я решил для себя, – он усмехнулся своим большим ртом, – что все, что не случилось у меня в жизни, не случилось к счастью. Я не стал

баскетболистом, хотя играл за юношей ЦСКА, не стал классическим пианистом, хотя подавал надежды, не стал клавишником всемирно известной группы Final Melody... Кем бы я был, останься я тем, кем был? Не завяжи я с музыкой? Жалкая участь...

– А кем бы ты был, Магишен?

– О, я был бы деятелем, имеющим заслуги, – в его светлых глазах появилось веселье. Дерзкое и легкое, как будто он вдруг стал тем, прежним, самоуверенным, ироничным органистом. – Меня приглашало бы на Наше радио. У меня была бы своя студия. Я продюсировал бы молодых певиц. Создал бы группу «Ату» или «Туту» или как там их ещё. Носил бы шейный платок, белую ковбойскую шляпу и мягкие сапожки. Был бы такой вальяжный тип с седыми бакенбардами, с хиповыми бусами на шее, очень современный, знающий, что такое хип-хоп, завсегдатай музтусовок, поглотитель коктейлей и суши, завернутый в четыре слоя самой жирной пошлости...

– Тебя послушать – ну и урод... Это с одной стороны. А с другой, куда деться от славы, если ты сделал что-то стоящее? Приходится терпеть. Хэндрикс же терпел? И ты бы вытерпел. А так – мне вот жаль, что вас нет. Много чего есть, а Final Melody нет.

– Это наш знак отличия. Небытие, это вроде ордена. Мы ни в каком ряду никогда не стояли. Даже в ряду простого житейского существования.

– Ты, выходит, сам вычеркиваешь вас из русского рока, так, что ли?

– Да мы не считали себя русским роком никогда, – просто сказал он. – Мы ни с кем даже знакомы не были. Мы никого не знали, ни «Машину», ни «Аквариум», ни подпольную рок-прессу. Однажды какой-то тип, из «Рокси», что ли, приперся к нам в бункер с целью ознакомиться с интересным музыкальным явлением, но

мы его послали... На хрен они нам были нужны со своим русским роком?

– Ну да, но говорю тебе, они остались – а вы нет.

– И что? – теперь в нем набухало легкое раздражение. – Мы же не ставили своей целью жить долго.

– Не важно, долго ли, коротко ли. Моррисон тоже жил недолго. Важно, чтобы что-нибудь вышло, что бы что-нибудь получилось, я так думаю.

– А вышло. Разве не вышло? Все вышло. Цели ведь иной не было, как сыграть музыку. Это была у нас затея с драйвом, но абсолютно безо всякой цели. Мы были вроде воинов Кастанеды – живые, способные к действию, но от жизни уже свободные. Ты читал Кастанеду?

Что-то такое было в этот момент в выражении его грубо вылепленного лица с тяжелым подбородком и острым длинным носом, что я понял: он считает себя воином Кастанеды. Просветленным, суровым, очистившим душу от суеты воином, преодолевшим все земные искушения – и наслаждающимся чашечкой крепкого китайского чая у самых ворот рая.

– Не читал, – сказал я.

– А прочти.

– Ладно, прочту.

– Серьезно, прочти.

– Сказал же, прочту. Ты меня прости за простоту...

– Уже простил, – сказал он, глядя мне в глаза.

– Но музыка-то где? Куда записи делись?

– Не знаю. Делись куда-то. Я ничего не сохранил.

– А какого черта, Магишен? Это было условие игры? Часть дурдома?

– О Господи, ты ничего не понимаешь! – он сказал это тихим спокойным голосом, но я ощутил, что что-то в нем натянулось, напряглось. Говорю тебе, зачем нам было оставаться тут? – это «тут» он произнес с какой-то

странной, невыразимой интонацией, так что я понял – он имеет в виду даже не настоящее время, с его радиостанциями в FM-диапазоне, продюсерами и методами раскрутки, а постылую болотистую реальность, захватывающую все времена, реальность, из которой он бежал в свое каменное спокойствие, в неизменное выражение лица, в чайные церемонии, в защитный образ война. – Зачем? Чтобы в образе ветерана рок-н-ролла лепить пельмени перед телекамерой? Все это *лажа*, – коротко припечатал он словечком былых времен.

– Никаких записей не осталось, Магишен, черт тебя возьми, ни-ка-ких...

Он молча смотрел на меня, ожидая продолжения. Он молчал, и я молчал. Молча мы смотрели друг на друга.

– Было бы странно, если бы Мираж исчез, а музыка осталась, – наконец сказал он. – Корабль затонул вместе с бочками пиастров, которые были в трюме. Это справедливо.

– А может, именно потому, что Мираж исчез, музыке стоило бы остаться?

– Памятником великому гитаристу? – сказал он с сарказмом.

– Роки Ролл говорит, у одной из его бывших подруг что-то может быть...

– У Роки было сто подруг, одна другой краше, – ухмыльнулся он. – Кончай забивать атмосферу бессмысленными вибрациями. Не обижайся.

– Чего ради я буду на тебя обижаться, Магишен? Ты же органист из моей любимой группы.

– Не надо об этом так тревожиться, – сказал он. – Осталось, не осталось, какая разница? Поверь чайному мастеру, отличающему на вкус У-лун от Инь-хао. Чай просветляет, поверь. Отпусти все это от себя – будь

свободен. Все всегда на своем месте и вовремя. Не суетись.

– Это не ответ... – я чуть было не обозвал его придурком. Сейчас в нем было тонкое, хорошо спрятанное, вежливое и непробиваемое высокомерие человека, который знает высшие ценности. Но к рок-н-роллу эти высшие ценности уже не имели никакого отношения. Я продолжал приставать, я длил разговор по инерции, хотя чувствовал, что сидящий напротив меня человек уже вышел из игры. – Скажи, почему Final Melody распалась, Магишен?

– Лет двадцать назад такой вопрос ещё имел бы смысл, – он впервые за весь вечер рассмеялся от души. Когда он смеялся, его лицо становилось некрасивым. В углах рта прорезывались острые морщины, рот раскрывался, зубы у него были крупные, лошадиные. – А теперь? Какая разница?

– Значит, есть разница, если спрашиваю.

– Ну, ты же знаешь, Мираж слинял.

– А если бы не слинял?

– Один черт. Мы дошли до ручки. Как говорится, пошли на взлет. Он меня допек, я его. Мы уже были готовы к аннигиляции.

О'Кей жил в семиэтажном сталинском доме на Ленинградском проспекте. Дом стоял в глубине квадратного двора, посередине которого был заброшенный, давно не функционирующий фонтан. На бетонном дне фонтана лежал хлам: ржавая канистра, моток проволоки, смятый в лепешку пакет молока, сломанная лыжа... На стене висела мемориальная доска, сообщавшая о том, что тут с шестидесятых по восьмидесятые жил знаменитый маршал авиации. Сталь этого дома, его эркеры и выложенный светлым камнем фасад будили фантазию: я видел черные солидные машины у подъезда, лифтеров и взбегающих по ступенькам адъютантов с папочками... Но лучшие годы дома прошли, и сейчас он выглядел как после обстрела – стекла на первом этаже выбиты и заложены фанерой, в скверике у фонтана помойные баки, с верхом заваленные мусором, по боковой стене ползла ядовитоголубая аварийная труба.

В подъезде в нос мне шибанул застарелый запах мусора, на лестничных клетках лампочки не горели. В темноте я ехал на гудящем лифте вверх, в темноте искал квартиру под номером 78. Чиркнул спичкой, поглядел на номер, бросил спичку в темный лестничный пролет. Мгновение она ещё жила, светилась мрачным красноватым огоньком, потом исчезла. Позвонил.

Дверь защелкала замками и цепочками – растворилась. Испуганным зверьком мелькнула во мне мысль о том, что в темноте я все-таки перепутал квартиру – таким чужим показался мне стоявший в дверном проеме человек. Кто это такой? Но он уже улыбался, уже жал мне руку и басил: «Ну, сколько лет! Проходи! Заходи!» Он как будто стал ниже ростом,

погрузнел, расплылся. И лицо его изменилось – нежный юношеский овал исчез, щеки поглубели, лицо было теперь одутловатым, желтоватым, с большим носом и грязновато-серыми бакенбардами. В торговце тетрадами Басе и по сей день было что-то наивное, даже детское, в мастере чайных церемоний Магишене оставалась скрытая сила сжатой пружины, а вот О'Кей был несвежий, размягченный, потрепанный жизнью человек. Он был в уютном домашнем свитере с треугольным вырезом, в синих джинсах и серых тапочках. Глядя на этого невысокого, большеногого мужичка, я впервые за все время моих изысканий с такой острой, тоскливой силой почувствовал *время* – те двадцать лет, что разделяли тогда и сейчас.

Квартира у него была обширная, но в запущенном состоянии. Я знал такие берлоги – квартиры советского среднего класса, медленно впадавшего в нищету. В коридоре стояли картонные ящики, перевязанные веревкой, – видимо, старые вещи, предназначенные ксылке на дачу, да все никак руки не дойдут перевезти. Одна из двух лампочек в люстре не горела, в узкой длинной прихожей было тускло. Из кухни с закопченным потолком и старым холодильником «Ока» навстречу мне вышла стройная светловолосая женщина в красном свитере и спортивных черных брюках со штрипками – на ходу она вытирала руки полотенцем. – Моя жена, Света, – сказал О'Кей. – А это мой старый друг Андрей. Я тебе рассказывал. *Времен Final Melody*. Она кивнула – за её спиной на плите зашипела сковородка. Я аккуратно пожал её чуть влажную ладонь. – Рада вас видеть, проходите, ужин скоро будет готов! И она ушла на кухню.

В комнате все стены были заставлены чешскими книжными полками. За стеклом на полках черные и красные африканские маски и художественные альбомы на английском: Дали, Кандинский, Шагал... В

углу – музыкальный центр Toshiba, большой, громоздкий, такие были последним писком моды лет десять назад. Рядом с ним на полу стояли в проволочной подставке виниловые пластинки в большом количестве. Я сел на корточки и перебирал их, тут были Clapton, Chicago, Deep Purple... Я узнавал обложки и с ностальгическим наслаждением читал названия вещей, тут же вспоминая их.

– Слушаешь? – спросил я.

– Слушаю, а как же, – ответил он. – Ты выпьешь?

– Я вообще-то за рулем. Но немного давай.

– Значит, немного. На углу письменного стола О'Кей уже поставил две рюмки и наливал водку.

– Кристалловский «Кристалл», – объявил он, поднимая рюмку. – Другого не пью и тебе не советую. Знаешь, где брать?

– Где?

– На Самокатной улице, на заводе. Там на территории есть магазинчик. Я беру ящиками... Ну, за встречу!

Мы чокнулись и выпили. Водка действительно была отличная – никакого химического запаха и привкуса. Я сел на диван у стены, подвинул стопку книг, верхняя из которых была «Моби Дик» Мелвилла на английском. Библиотека у О'Кея была солидная, составленная в советские времена, когда книги приходилось не покупать, а доставать – на одной из полок я увидел темно-зеленые твердые переплеты «Литературных памятников», на другой бумажные суперобложки томов «Всемирной литературы»... Я подумал, что он, как дипломат, наверное, отмечал галочками в каталоге, что хочет иметь. У них же были свои распределители – книжные в том числе. О'Кей какое-то время своей жизни был номенклатурой.

– Слушай, почему ты ушел из Final Melody? – спросил я, листая «Моби Дика» на английском.

– Я ушел из группы по простой причине, – сказал он. Сделал паузу и посмотрел на меня. – Я больше не хотел в ней играть! Он заржал.

Он смеялся так просто, так грубо, так тряслись его серые бакенбарды и прыгали щеки, что вся моя ностальгия вдруг померкла, стушевалась. И то, что казалось мне странным и непонятным, вдруг стало элементарным. Ушел – потому что не хотел играть. Не надо усложнять. Все дела.

Двадцать лет назад подобное высказывание показалось бы мне абсурдным. Люди мечтали играть в Final Melody, мечтали ходить на концерты Final Melody, мечтали попасть на их безумные джем-сейшены в бункере на Павелецкой. Но сейчас – не тогда. Я все-таки ждал продолжения.

– Ты понимаешь, – он потер кончик носа, это у него был жест задумчивости, жест поиска слов, – мне было с ними трудно. С этими козлами замороченными трудно мне было, вот что! И при этом я знал, что нет в мире лучше музыкантов, чем Мираж и Магишен! Ты меня понимаешь?

– Да, – сказал я, – понимаю.

– Они были полные выродки, в том смысле, что для них ничего не существовало, кроме рока – ни денег, ни работы, ни жратвы, ни будущего. Люди из Калуги ездили в Москву за колбасой, а они – пилили себе свой рок! Им на все было наплевать. Но я-то был парень другой, ох, я был парень другой!

– В смысле?

– В полном смысле!

– Это ты про МГИМО?

– Ну. Я в этом отряде безбашенных пиратов был единственный, кого ещё не отовсюду выгнали.

– Мне кажется, они такими родились, – сказал я. – Это было их состояние от рождения. Тут с генетикой

что-то связано. Хорошо бы проследить их родословные...

- Нет, тут ты не прав. Он опять заржал. - Нормальные люди, из нормальных советских семей. Но как услышали рок-н-ролл, все, переродились. Изначально Мираж и Магишен где-то учились, но году к 1980, когда закрутилась вся эта история с Final Melody, их уже давно отовсюду выставили. От армии они отмазались, у них же справки были. Роки Ролл был дворником с ударной установкой на дому - удобно устроился, сволочь! А я не сачковал, учился - это что-то значило. Я собирался быть дипломатом, ты понял? Дипломатом! Ты можешь себе представить студента МИМО как пофигиста, алкоголика и рок-н-ролльщика? В советское-то время... Ещё странно, что я так долго продержался, что они ещё раньше не почувствовали во мне вражью натуру.

- А они почувствовали твою вражью натуру? - удивился я.

- Да нет, не в том дело... Он опять поржал. - Натура у меня была ничего себе, я же парень свойский, качусь колбаской по Большой Спасской, ты же знаешь... Ядрена коломашка! Так мы о чем, я забыл, напомни мне!

- О Final Melody. Придурок, в твоей жизни разве было что-то ещё, о чем имеет смысл говорить?

Он не обиделся. Это ему даже понравилось.

- Они все трое, с ортодоксальной точки зрения, были асоциальные типы, тунеядцы. Но даже не в этом деле. Можно быть тихим тунеядцем, лежать на диване, пить водку с килькой в томате и не высовываться. А они высовывались! В них было что-то такое, что вызывало дикое раздражение у окружающих их нормальных советских людей. Для этого им не надо было даже рты раскрывать или играть музыку, а достаточно было просто на улицу выйти - и все, никакой милиции не нужно! Люди готовы были тут же линчевать их!

Бледные лица, длинные волосы, драные джинсы, под глазами тени, и на лицах такое выражение... ну, такое выражение... ну, *такое* выражение! Ты же знаешь, какое выражение!

– А какое? – спросил я.

– Как будто они три дня жрали одну наркоту, вот такое! Как тебе ещё описать это выражение? Он напряженной ладонью тер нос, ища слова. – Такое наглое, такое возмутительное выражение на фейсах... *им было всех послать!* Вот!

– Ну да, – сказал я. – Помню. Сам с таким фейсом ходил.

– Вот-вот, – сказал О'Кей. – Сам, значит, с таким фейсом ходил.

– Ну да, – сказал я.

Мы выпили.

– В рваных джинсах и с длинными волосами проехаться, например, в троллейбусе было тогда в Москве целое приключение, – продолжал он, вольготно полулежа на диване. Он откинулся назад, повернулся в пол-оборота ко мне, поджал под себя ногу в домашнем тапочке. – Ты входил, и граждане на тебя смотрели рыбьими взглядами. Сейчас сожрут, и все дела! Но они же не просто ходили по улицам с лицами типа *всех немедленно послать*, они вытворяли вещи, которые мне казались ужасными. Нет, не казались, а были ужасными, воистину эти вещи были кошмарными, невыносимыми, ужасными! Например, Магишен и Роки Ролл однажды – после того, как мы выдули пятнадцать пива бутылок – синхронно поссали на площади Маяковского. Расстегнулись и поссали прямо перед Владимиром Владимировичем, громко при этом распевая *All You Need Is Love!* Ты понял?

Он схватился за голову и сидел передо мной в позе ужаса.

– Зачем они это сделали? Зачем они совершили этот циничный, отвратительный, позорный поступок? Были под кайфом, да, но это не оправдывает их цинизма. Что, разве советские алкаши всегда ссали перед памятниками? Нет! Но они были асоциальны в каждом своем проявлении, в музыке, в быту. Я струсил ужасно, я в этот момент делал вид, что я не с ними. Отвернулся и смотрел в другую сторону. Я боялся, что нас заметут. Если бы нас замели, мне бы накатали телегу в институт, и это был бы для меня конец... А ты знаешь, что Мираж вылизывал тарелки? – спросил он.

– Где? Какие тарелки?

– Везде. Везде и всегда он как ненормальный вылизывал тарелки. В забегах брал жратву, съедал, а потом вылизывал тарелки. Я сам это видел много раз. Стоит с пустым взглядом и лижет тарелку. Полный абзац, как тогда говорили. Абзац! – радостно повторил он ещё одно словечко тех времен и заржал опять.

Он сидел передо мной на диване – маленький обрюзгший мужичок в серых тапках, бывший басист легендарной группы Final Melody – и весело ржал. В нем было какое-то неправильное, кривое, веселое жизнелюбие, жизнелюбие лопуха.

– Я единственный из них вел настоящее двойное существование, – продолжал он, после того, как мы опять выпили по стопке, – каждый день ходил в институт, конспектировал «Малую Землю», сдавал зачеты по научному коммунизму и писал комплексные планы личного развития студента. Я единственный из всех имел планы на будущее: закончить институт, работать в МИДе... Это мне было обеспечено по семейному происхождению, так сказать. У остальных никаких планов не было. Что там было им планировать? Мираж периодически исчезал. Потом появлялся: «Где ты был? Мы тебя искали!» – «На вокзале». Он любил

вокзалы, он уходил на площадь трех вокзалов и там сидел на скамейках, пил с командировочными, ел плов с узбеками в тубетейках. Иногда он спал там. Утром возвращался домой, принимал душ, пил кофе, слушал музыку, Deep Purple или Grateful Dead, потом ехал в бункер на репетицию. Он говорил, что ему нравится запах рельсов, это я помню. Я от него балдел. Я таким свободным никогда не был, я не мог жить на вокзале и беспрерывно жрать сосиски. К тому же, он фарцевал – продавал гитары, диски, трузера с зиппером. Что они вытворяли, слушай, Moonlight Drive, что они вытворяли! – теперь он захихикал. Радостно. – Вот слушай! Магишен откуда-то приносил анашу, они курили её, а потом они с Миражом спорили, что именно может в советских условиях заменить ЛСД, и приходили к выводу, что это не анаша, а поганки. Надо наладить сбор поганок, организовать хипповую коммуну, солить грибы, мариновать, распространять бесплатно на концертах. Викинги же ширялись поганками. Таковую чушь они несли. Все было очень страшно, – вдруг сказал он. – Я боялся, что нас загребут и посадят.

– Да брось ты, – сказал я. – Ты преувеличиваешь. Это был карнавал. Праздник жизни. Я сейчас вспоминаю с удовольствием.

Мы выпили.

– Ну да, конечно, это был карнавал. Маленький, локальный карнавал четырех людей, которые жили в очень скучную эпоху... Но учти, они были неменяемы. К концу, то есть к лету 1981, они просто уже дошли до высших степеней неменяемости. Я любил рок-н-ролл, любил его как музыку, а они, конечно, вкладывали во все это что-то другое, в духе Достоевского: все, мол, дозволено... И не просто дозволено, а даже вот так вот: весь, мол, смысл и кайф рок-н-ролла именно в том, чтобы сделать *в жизни* как можно больше недозволенных вещей. Ну ладно, про грибы это был

треп, хотя я не исключаю, что эти два козла могли в виде эксперимента и поганок нажраться. В группе в ходу, например, был так называемый «компотик». Знаешь, что это? Пил с нами?

– Нет. Не помню. Вроде не пил. Портвейн много раз пил.

– В вермут добавлялась пригоршня димедрола. Увесистая пригоршня, таблеток двадцать разом. Все это взбалтывается как следует. Выходила розовая мутная дрянь. Кайф улетный. Вермут я пил легко, мог заглатывать его литрами, но когда первый раз после репетиции выпил компотика, то улетел очень серьезно. В тот раз на репетиции был в гостях какой-то каратист, друг Магишена, он все время рассказывал о своих подвигах, о том, что в армии служил в каком-то особом спецназе, что он любимый ученик Штурмина, что может тыщу раз отжаться на одном кулаке и сделать хоть горизонтальный, хоть вертикальный шпагат. Он якобы даже учился в Гонконге у китайцев. Зашла речь об Оззи Осборне, как он на концерте откусил голову летучей мыши, и каратист сказал, что это все фигня, подумаешь, откусывать голову летучей мыши, когда тебе подносят её на блюдечке с голубой каемочкой, а вот попробовал бы Оззи, как они в спецназе, сам ловить полевых мышей и жрать их живыми. Одного не пойму, как, блин, он мог попасть в Гонконг при Советской власти? Ты знал кого-нибудь, кто при Советской власти попал в Гонконг?

– Я тогда знал одного мужика, он ездил отдыхать в Болгарию, на Солнечный берег...

– Причем здесь Болгария, придурок?! Тот тип говорил про Гонконг!

– Ну и что? Не ори!

– Подожди, давай. Prost, приятель! Он мне действовал на нервы. Ему сказали: «Ладно, хватит трепаться, сделай что-нибудь, покажи!» – а он в ответ

требовал, чтобы мы поймали ему мышь, и он тогда разорвет её зубами прямо на наших глазах. Скалил зубы, делал жуткие рожи. От него не отставали, и он, не моргнув глазом, сел в горизонтальный шпагат прямо в лужу. Горизонтальный шпагат в луже, ты понял? Это был high-class. Это мы были уже на улице, шли за очередной бутылкой, веселые такие. Он порвал брюки в паху, ходил весь вечер в дупелину пьяный в мокрых порванных брюках малинового цвета. Пришли в бункер с целой сумкой вермута, и он тут же в восторге от того, что все так удачно в жизни складывается, расколотил ударом ладони спинку стула и посоветовал мне попробовать сделать тоже самое. Я с размаха вмазал ребром ладони – стулу хоть бы что. Я опять, потом бил его ногами... Я никогда таким пьяным не был. Утром мне в травмпункте сделали рентген – в руке трещина...

– Я таких историй тебе сейчас десять штук расскажу. Это все не повод... Из группы ты отчего ушел, ты мне можешь сказать?

– Пить надо было беспрерывно, у меня голова опухала уже. Уши висели, как у мертвого зайца. А я же учил иностранные языки! С утра голова не варила после репетиций, а у меня первой парой латынь. *Ocium post negocium*, – сказал он. – *Sit transit gloria mundi*. Красивый язык, а?

Мы чокнулись и выпили.

– Это была любимая забава в Final Melody – нажраться и репетировать. Я на таких репетициях обычно падал раз пять, цеплялся ногами за провода, опрокидывал динамики. Дебоширил. Мираж и Магишен импровизировали, они могли это делать даже в самом страшном кайфе, он им только помогал, а я был не так вынослив, как они – не попадал в ноты. Они мне что-то орали, я им в ответ тоже орал. Однажды мы забыли, как выйти из припева, и сыграли его двенадцать раз подряд. Сидели в этом припеве, как в застрявшем

лифте. Потом они собрались с силами и вырвались, а я остался и играл припев, несмотря ни на что. Роки Ролл отбирал у меня гитару, я не отдавал, хотел играть, в конце концов он выманил её у меня, дав взамен бонги, погремушки и губную гармошку. И я был в гармошку и бил в бонги и плясал перед Ильичом танцы народов мира. Мираж играл специально для меня танцевальные соло, в безумном темпе, там у него фрейлакс вытекал из «Чижика-Пыжика», а из лезгинки вытекала самба, сдержанно-страстная, в стиле Сантаны... Такой радости в моей жизни больше никогда не было. Ты понял!

– Понял. А записей у тебя не осталось?

– Слушай, что я вспомнил! Каратист, разъяренный отсутствием мышей, с разбегу, опустив голову, полетел и – хрясь! – О'Кей взмахнул короткими ручками, подпрыгнул на диване, – проломил дверь насквозь! Голова у него торчала с той стороны двери и скалила старичку-вахтеру жуткие рожи, а он сам оставался с этой. Роки в это время оттаскивал Миража от проводов, боялся за его жизнь, он у нас уже побывал с помощью электричества на том свете...

– То есть?

– Что значит – то есть? Ты, оказывается, только строишь знатока, а сам ничего не знаешь о группе Final Melody!

– Давай, рассказывай!

– У Магишена дружки иностранные были, журналисты, дипломаты, то да сё. Аппарат хороший достать было невозможно, и вот один бородатый американ привез Магишену в подарок комбик Фендер Блюз Джуниор. Тяжеленький такой. Семнадцать ламповых ватт всего-навсего в нем было, но он пробивал любое помещение. На лампах комбик, причем лампы наши, советские. Там написано было вязью «Фендер», а дальше шло «Сделано в СССР». Мы отпали прямо, когда увидели – советские лампы в комбике,

купленном даже не в Европе, а в солнечном штате Флорида! Ну да, не удивляйся, они, значит, покупали наши лампы, они дешевые и очень даже хорошие... Но в Америке напряжение другое, и мы отдали комбик одному умельцу, и он перемотал его со 110 на 220 вольт, и так перемотал, что Миража грохнуло. На первой же репетиции с новым комбиком, на моих глазах. Он схватился за струны и за микрофонную стойку, лицо его перекосило, и он упал. Потом встал и пошел, не видя, куда, оборвал шнур, и комбик грохнулся на пол. Магишен считал, что именно в этот момент у Миража чуть ли не полмозга погибло, и он стал окончательно невменяемым. Может быть. Потом, позже, я спрашивал его, что он чувствовал, а он отвечал очень коротко: «Я увидел смерть. Она белого цвета»... Так что ты говоришь?

– Записей у тебя не осталось?

– Чччерт, а как жалко, что записей не осталось! – сказал он, поржал и налил ещё водки.

– Хватит, О'Кей, я за рулем.

– А, ерунда, сейчас Светка сделает котлеты с картошкой, протрезвеешь. Я тебе дам антиполицай. У неё знаешь какие котлеты? Брызжут жиром. С панировочкой! Это котлеты мечты, Dreamkoteletten...

– Ты слышал про концерт, где Магишен поджег себе голову?

– Что значит слышал? – обиделся он. – Я там играл.

– Как ты? А я думал, Бас.

– Это в Алексине, в клубе молокозавода? Зимой? Я там играл. Там в фойе стояли бидоны с молоком, тазы с творогом, а в артистической было плюс пять, мы перед выступлением открыли краны с горячей водой и грели под ней руки. Ты хочешь спросить, как это было? Ты меня интервьюируешь?

– Да, для Rolling Stone. Как это было?

– А это я все заварил, ты понял? Я. Баса тогда и рядом не было, он ещё ходил в детский сад и учился брать аккорды. Нашли кого брать вместо меня, Баса этого! Я там взял да исполнил впервые в жизни соло на басу – это примерно то же самое, что адажио в исполнении медведя. Бу-бу-бу-бу! – радостно загудел, сидя на диване, одутловатый мужичок с седыми бакенбардами и носом-картошкой. Руками он держал невидимую гитару и гудел в упоении. – Бу! Бу! Из его груди, из-под теплого домашнего свитера, толчками вырывались низкие хриплые звуки, звуки бас-гитары, идущие через дышащий на ладан усилитель и трещащие динамики. – Вот так, ты понял!

– Ты классно играешь, О’Кей!

– Ага. Я Роджер Гловер!

– Роджер, расскажите, пожалуйста, публике, что было дальше!

– Сначала ко мне подстроился Мираж – мы с ним минут пять пилили совершенно дикие вещи в две гитары. Он взлетал, я выл, он парил, я гудел, он был чайкой, я был гирей на шее у чайки... Ты меня понял? Грохот стоял страшный, Роки просто с ума сошел со своим драмом, а в зале кресла ломали на дрова. Ну да, у них там, по моему, ещё было печное отопление... Там какие-то люди в ушанках и валенках танцевали твист. Роки Ролл озверел, я его никогда таким не видел, рожа красная, пот льет со лба, орет страшным голосом, выкрикивает каратистские лозунги: «Кияяя! Хаджеме! В лоб ногой!». Он расколашматил четыре палочки, больше у него не было, и он уже барабанил одной сломанной и в итоге, конечно, порвал барабан и пинал его ногой, доканывая. А Магишен из органа сделал испорченное электрическое фоно, звук хонки-тонки, и шпарил на нем дурные пьески, он их придумывал сходу, вальс для коров, танго для лошадей, все вприпрыжку, тра-ля-ля, тра-ля-ля, – спел выпивший басист. – Мираж его

затыкал, он как всегда стоял посреди сцены спиной к залу – торчал там, как карандаш, и все нагнетал, нагнетал, нагнетал... Они всегда были в противофазе – если Мираж ударялся в патетику, Магишен впадал в пародию... В зале свист, вой, рев, визг, щепки летят, в окна лезут те, кому не достались билеты, какие-то люди тащат через зал дрова и бидоны с молоком... А тут вдруг смотрю, раз – и все! Все, ты понял? Вот тебе!

– Что всё?

– А Магишен горит!

– Вот так прямо и горит?

– Врать не буду, самого поджога я не видел, я стоял от него далеко, в другом конце сцены, и вдруг увидел, что у него пляшет венчик огненный вокруг головы. Красивый такой венчик с извивающимися язычками пламени. Чуть-чуть горелым запахло, что ли... А он как ни в чем не бывало шпарит на расстроенном фоне. Ты знаешь, мы все были в таком кайфе, что я не испугался и не удивился воспламенению Магишена, мне это показалось делом совершенно нормальным. Я даже обрадовался и подумал, помню: «Магишен горит, классно, кайф какой!». Восторг был. Я чувствовал, что мы улетаем в астрал, уносимся все четверо, во главе с пылающим органистом, а за нами когти рвет эта танцующая твист толпа в валенках и с бидонами...

– Ну, и? Дальше что?

– Но тут же из-за кулис как выскочит с воплем ужаса чувак в резиновых сапогах до пояса и в сияющей каске, кричит истошно: «Голова! Голова!» – и струей огнетушителя как даст Магишену прямо в морду!

– Струей огнетушителя?

– Ну да. Мощная такая струя, напряженная, шипящая, ослепительно-белая... и прямо Магишену в морду!

– Бас, это новое слово в истории! Новая версия! Мне рассказывали, что осветитель ведро воды ему на голову

вылил!

– Какое ведро воды? Кто там был, я или ты? Нет, говорю тебе, он сначала огнетушителем зафигачил! Рванул черную ручку и прямо ему в морду – пенной струей! Я шипение слышал, страшное такое шипение... Вот когда Магишен горел, было не страшно, а когда его тушили – страшно. Но это был не осветитель, а пожарник. Магишен от удара упал, но тут же вскочил и рванулся вперед, к органу... Он был весь в пене, она висела ошметками на его балахоне, на волосах, на носу. Зрелище ужасное. Мираж ноль внимания, у парня было своеобразное чувство юмора, он в этот момент заиграл что-то трогательное, не помню точно что, похоронный марш Шопена, что ли... Роки выпрыгнул из-за барабанов – он к этому моменту был уже в полном восторге от всего происходящего – и мужика с огнетушителем ударом кулака сбил с ног. Буйвол был страшный. Ударил правой прямой в голову, каска с грохотом отлетела в зал, там её тут же нацепила девица в ушанке и в лифчике, с пацификом на лбу... В зале свист, крик, вопли: «Роки, бис, Роки, браво! Long Life Rock-n-Roll!» Толпа дружинников на сцену рванула и ну Роки за ноги вытаскивать из-за барабанов, но фиг его вытащишь, он кабан здоровый, мутузит их, ну, и началась потасовка. Все били всех! Но я играл до конца! С меня какие-то гады срывали гитару и орали, чтобы я немедленно прекращал, но я играл до конца, и тогда они вырубили электричество. Не только на сцене, а вообще повсюду. В зале, в фойе, в туалетах, в артистической, во всем городе. Seriously, мы потом вывалились из ДК, вокруг ни огонька. И настало то, что мы называли в те времена «полный абзац» – тьма вавилонская...

– Классный концерт. Жаль, что я не был.

– Подожди, это не все ещё! Нравятся тебе мои мемуары? Последнее, что я запомнил в этой тьме – Роки

Ролл, жестом Самсона вздымающий над головой большой барабан – он его оторвал от ударной установки – и с хрустом насаживающий на голову подползающему к нему хмырю. Хрясь вот так! – бывший басист вздел руки с откуда-то взявшимся огромным томом Гоголя и бросил их вниз, показывая мне, как было дело.

Сказать было нечего. Эффектная картина. Мы выпили. Мне надо было спросить его о главном – о расставании.

– Как ты сказал им, что уходишь?

О'Кей тут же откинулся на спинку кресла, и лицо его скрылось в полутьме. Вряд ли он сделал это умышленно, желая скрыть движение чувств или выражение глаз. Скрывать тут было нечего. В О'Кее не было ничего драматического или мелодраматического – он был потертый жизнью мужичок с серыми топорщащимися бакенбардами, бывший дипломат, теперь занятый сборкой компьютеров. Я знал от Магишена, что у него своя маленькая подвальная фирмочка. Он просто откинулся назад и некоторое время молчал.

– С Миражом я не хотел говорить. Я просто не мог. Мне было стыдно. Он бы меня облил презрением. Магишен в этом смысле был примерно тоже самое, что Мираж. Я позвонил Роки Роллу и сказал, что ухожу.

– А он?

– Сказал: «Дурак!». Потом понес ахинею.

– Какого рода?

– Что Пит Бест ушел из Beatles и потом всю жизнь жалел. И что я буду жалеть. Завтра мир изменится, коммунизм рухнет, – а ведь как в воду глядел, паршивец! – они станут лучшей группой современности, к ним приедет Ричи Блэкмор, который, как известно, учился у Миража, они устроят в его честь прием во Дворце съездов, будут жрать красную икру в яйцах, а меня с ними в этот светлый час не будет... я буду

прозябать на должности посла в какой-нибудь задрипанной Австралии. И все такое прочее... ну да, и было ещё одно обстоятельство, о котором я тебе не рассказал, – добавил он.

– Это что?

– Я решил уйти после того, как со мной побеседовали в комитете комсомола. Давай?

Мы выпили за рок-н-ролл – последнюю перед котлетами.

– Заседание комитета комсомола, пригласили меня. Они сидели за столом, я перед ними стоял. Уже маразм, да? – хмыкнул он. – Все очень вежливо, они, конечно, знал, кто у меня отец. Первые десять минут секретарь по идеологии – парнишечка такой subtilный, с голоском тоненьким, – рассказывал о борьбе, которую ведут против нас империалистические страны, используя как оружие разные виды искусства, литературу, кино, балет, в том числе рок-музыку. Я должен это понимать, как будущий работник идеологического фронта. Потом показали мне список запрещенных рок-групп – был тогда такой список, составленный каким-то умником в отделе пропаганды ЦК ВЛКСМ, по какому принципу его составляли, абсолютно непонятно, туда входили Нина Хаген, Scorpions, Элтон Джон, Pink Floyd и мы. Намекнули, что грядут *меры*, и мне лучше расстаться с моими неблагонадежными друзьями. Секретарь комитета была тетка, она так и сказала – «неблагонадежными друзьями». Готов ли я? Хмыри все такие были, знаешь, комсомольского вида, в галстучках, и среди них она, сука такая, в синем платье, на правой груди комсомольский значок, с красным фейсом... Она старше всех была, аспирантка, что ли. Кобыла такая.

– А ты что?

– А я что? Вот Мираж бы плюнул ей в глаза, он же герой был. Роки засветил бы всему комитету между

глаз. А я промычал что-то в ответ, типа «да, само собой, но нет, потому что не знаю», но они на такой финт не купились – сказали, что дело серьезное, что за развитием событий следят наверху и ждут от меня правильных решений...

– Ну, не тяни. А ты?

– А что я? Я же не пират Билли Бонс, а студент МГИМО, блин! Испугался. Присел скромненько на уголок стола, написал бумагу, что ни в каких мероприятиях, связанных с Final Melody, участвовать не буду. Число и подпись. Отдал им. Чувствовал себя так, как будто меня публично изнасиловали. Хорошо ещё никого не заложил, ха-ха, – сказал О'Кей очень язвительно и совершенно трезво. – Не люблю про это вспоминать. Давай лучше ещё разок вмажем перед котлетами!

Он налил. Слез с дивана. Встал передо мной, выпятив грудь, округлым жестом подняв руку с рюмкой.

– Мы ветераны, – сказал он, стоя передо мной с рюмкой водки в руке, торжественно и гордо, – мы можем позволить себе вмазать перед котлетами хоть сто раз! Мы такое поколение, ядрена коломашка, да! Мы воспитаны на музыке Deep Purple! Френд, сейчас мы с тобой выпьем, и я поставлю тебе Клэптона. Любишь Клэптона?

– Люблю.

– Молодец. Все прошло, Moonlight Drive, все прошло к такой-то матери. Мы стали славными хрычами. Ну, ты, может быть, ещё и не хрыч, – смягчился он, – но я-то уже точно хрыч первостатейный, поверь мне! Я впариваю людям китайские материнские платы. Он начал смеяться, и я вслед за ним. Мы выпили уже достаточно водки, и в том, как он говорил, в его интонациях, в его ужимках, действительно было что-то смешное, и он смеялся над собой, и я смеялся вместе с ним. – Вот она, моя *vita nuova*, ты видишь теперь. Но как прекрасно все это было, как потрясающе-прекрасно все

это было тогда, в те годы, когда я играл на басу в Final Melody!

Из кухни уже доносился одуряющий запах раскаленных котлет. О'Кей вынырнул из сумрака и, радостно посмеиваясь и почесывая то нос, то бакенбарды, снова потянулся к бутылке.

notes

Примечания

1

Кстати, у них была и вещь с таким названием – рок-н-ролл минут на десять, с припевом, состоявшим из одной строчки: Нам всех послать, вас всех послать, ла-ла, ла-ла, ла-ла. И так далее.